

Нам - 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба  
народов**

**10/2024**



## **В номере:**

### **Метания юного Вертера**

*«Снова стала вспоминаться история, случившаяся со мною много лет назад, вспоминаться неотвязно, настойчиво. Во сне я опять бегу по серым сырým ступеням сталинской парадной, тяжкие меандры ведут меня всё выше, от этажа к этажу, пролёты удлиняются безмерно, но я бегу, и вот на одной из площадок — две фигуры. Звуки борьбы, возня...» Юный герой повести Дмитрия ИСАКЖАНОВА «Античный сюжет» мечется, сомневается не только в окружающем, но и в самом себе, он растёт, непрерывно делая выбор между материальным и не-материальным, между бытием и сознанием. Давно избитый сюжет, но разница в том, как рассказать и как прочитать. И вот в этот зазор, в это несовпадение может проникнуть многое.*

### **«Во времена всегда последние»**

*Всю полноту бытия — от красоты природы до трагичности судьбы, общей и личной, — Ганна ШЕВЧЕНКО, нанизывая «слова на нити смысла», стремится вместить «в единство слова и природы, / запечатлённое в стихе». Тревожная нота «о бессилии слов и бумаги / О сомненье на доньшке глаз / Бога, спящего в каждом из нас» звучит в стихах Евгения КОНОВАЛОВА. В подборке Марии ИГНАТЬЕВОЙ — ностальгия о молодости и горькие рассуждения о смерти: «И без того у нас в крови — / взять и исчезнуть / незаметно, / как городские воробьи». Та же вечная тема «жизнь-смерть» — в лирике Веры КАЛМЫКОВОЙ: «жизнь дана зеленошумная / для примирения со смертью». Александр ОРЛОВ постигает время через связь поколений, через любовь к своим предкам.*

### **«Мы тут есть, а про нас никто не знает»**

*«Есть примеры, когда мне пишут: “Я сделал пожертвование, чтобы там купили аппарат УЗИ, медикаменты, тест-полоски для глюкозы...” И тогда я понимаю: то, что я просто разговариваю, снимаю и рассказываю, — это не зря», — так в одном из своих интервью определила смысл собственной волонёрской деятельности Евфросиния КАПУСТИНА, автор опубликованных в этом номере заметок «Люди, которых нет на карте». Люди из деревни Чуинахтахуюб в Гватемале и деревни Ла Сальвия в Никарагуа, не отмеченных на картах и официально не существующих для мира. «Кто-то дёрнул за рукав. Обернулась. Тоненькая девочка, чуть ниже меня ростом: — А можешь пойти со мной ко мне домой? Я хочу, чтобы ты сфотографировала моих братьев, они никогда себя не видели».*

### **«Память — бег по песку»**

*«Медное зеркало» Ирины Ермаковой — огромный том, в который вошли стихи, написанные в 1987–2020 годах. «Книга, вобравшая в себя тексты, относящиеся к очень разным историческим и биографическим эпохам, — замечает Ольга БАЛЛА, — обнаруживает удивительную цельность: общность во всех этих текстах манеры речи автора, типа её взгляда, позиции по отношению к миру, к той же речи, к самой себе». Задача критика — понять, как устроена эта цельность, каковы её основные черты и менялась ли она за эти сказочные тридцать лет и три года.*

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

## *Редакционная коллегия*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2024.  
Подписано в печать 20.09.2024.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ . Цена свободная.

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Леонид  
БАХНОВ  
Ирина  
ДОРНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА  
Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*

Мария  
АНУФРИЕВА  
Сухбат  
АФЛАТУНИ  
Муса  
АХМАДОВ  
Ольга  
БАЛЛА  
Дмитрий  
БИРМАН

Денис  
ГУЦКО  
Фарид  
НАГИМ  
Илья  
ОДЕГОВ

Валерия  
ПУСТОВАЯ

Ренат  
ХАРИС

Александр  
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН



**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

|   |            |
|---|------------|
| Ганна ШЕВЧЕНКО. Поющий снег. <i>Стихи</i> .....                                 | <b>3</b>   |
| Дмитрий ИСАКЖАНОВ. Античный сюжет. <i>Повесть</i> .....                         | <b>7</b>   |
| Евгений КОНОВАЛОВ. В посудной лавке мира. <i>Стихи</i> .....                    | <b>77</b>  |
| Надежда ЛИДВАЛЬ. И правда возможно... <i>Рассказы</i> .....                     | <b>81</b>  |
| Андрей ЛОМОВЦЕВ. Счастье и печаль тётушки Оли. <i>Рассказ</i> .....             | <b>95</b>  |
| Елизавета ВОЛЫНСКАЯ. Маша, тени и метро. <i>Рассказ</i> .....                   | <b>107</b> |
| Марат ШАКИРОВ. Семёнов. <i>Рассказ</i> .....                                    | <b>113</b> |
| Мария ИГНАТЬЕВА. Колыбель родимой речи. <i>Стихи</i> .....                      | <b>117</b> |
| Илья ПРОЗОРОВ. Давай смотреть в окно. <i>Рассказ</i> .....                      | <b>120</b> |
| Наталья САЛТАНОВА. Рассказы .....   | <b>129</b> |
| Елена АНТИПОВА. Что, нам теперь и чуда не полагается? <i>Два рассказа</i> ..... | <b>138</b> |
| Сауле КОЖАТАЕВА. Эльза в стране Абралы. <i>Рассказ</i> .....                    | <b>147</b> |
| Вера КАЛМЫКОВА. Во времена всегда последние. <i>Стихи</i> .....                 | <b>152</b> |
| Владимир НУРОВ. Черноголовый. <i>Фрагмент романа. С калмыцкого.</i>             |            |
| <i>Перевод Геннадия Калашникова</i> .....                                       | <b>155</b> |
| Александр ОРЛОВ. Взросленья чёткие отметки. <i>Стихи</i> .....                  | <b>182</b> |

**НАЦИЯ И МИР**

|  |            |
|--|------------|
| Евфросиния КАПУСТИНА. Люди, которых нет на карте ..... | <b>184</b> |
|--|------------|

**ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»**

|  |            |
|--|------------|
| Василий ГОЛОВАНОВ. Эпоха рок-н-ролла ..... | <b>213</b> |
|--|------------|

**ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ**

|   |            |
|---|------------|
| Ольга БАЛЛА. «Как пружинит лёгкостью высь» (И.Ермакова. «Медное зеркало») ..... | <b>248</b> |
|---|------------|

**КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ**

|   |            |
|---|------------|
| Борис КУТЕНКОВ. «Нет спасения жизнь кипит» (И.Булатовский. «Аврам-трава») ..... | <b>256</b> |
| Кирилл ЯМЩИКОВ. Затем свеча погасла (Д.Сиротинская. «Теорема тишины») .....     | <b>260</b> |
| Валерий ШУБИНСКИЙ. «Я выхожу из солнечной тюрьмы»                               |            |
| (М.Батурин. «Гений офигений. Поэты антологии “Уйти. Остаться. Жить”») .....     | <b>263</b> |

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Евгений АБДУЛЛАЕВ. Амаркорд ..... | <b>265</b> |
|-----------------------------------|------------|

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Борис МИНАЕВ. Другой Хлопуша ..... | <b>269</b> |
|------------------------------------|------------|

**НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ**

«Мы тут есть, а про нас никто не знает». Дети Гватемалы и Никарагуа.  
 Фото Евфросинии КАПУСТИНОЙ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>SUMMARY</b> ..... | <b>272</b> |
|----------------------|------------|

*Ганна Шевченко*

## Поющий снег

\* \* \*

Над крышами, как на иконе,  
застыло небо русских рек —  
идёт красивый, законный,  
законный отпуск в сентябре.

Продолговатый клин гусиный  
очистил небо добела,  
и вот ужалена осина  
осой осеннего тепла.

Скворец над озером кружится,  
и тишину рождает всплеск —  
то тень скворца на дно ложится,  
чтобы вернуться в этот лес.

Берёзы к ясеням припали  
и шепчут голосом Шаде,  
что каждый малый лист подпалый —  
неподражаемый шедевр;

что полосатые удода  
соединились на ольхе  
в единство слова и природы,  
запечатлённое в стихе.

---

*Шевченко Ганна Александровна* — поэт, прозаик. Родилась в г. Енакиево. По образованию финансист. Автор пяти сборников стихов, в том числе «Путь из орхидеи на работу» (М., 2020), «Хохлома, берёзы и абсурд» (М., 2023), и книги прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018). Лауреат Международного конкурса имени Фазиля Искандера (2017) и Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой (2023). Живёт в Подмосковье.

\* \* \*

Закруглённой вершиной блистая,  
проплывает, как вестник жары,  
то ли птиц клиновидная стая,  
то ли облако в виде горы —

выбирай, что захочешь. Прогулка  
по Москве — это сказочный квест,  
пятна Роршаха по переулкам  
расплескал неуёмный прогресс.

Ну а если сказать откровенно,  
опасаюсь я этих штрихов —  
как свободно гуляет по венам  
чёрный сгусток печальных стихов!

Колыбельную раннему маю  
сочинит соловыха в гнезде,  
если выключат свет, я узнаю,  
каково это — жить в темноте.

Солнце с грохотом катится с горки,  
и так тяжко от шороха шин,  
словно кто-то колючий и горький  
поселился в районе души.

\* \* \*

По скрытым в осоке болотам,  
ветрам и дождю вопреки,  
идут грибники на охоту,  
корзины подняв на штыки.

По кочкам и по буеракам,  
минуя колонны дубов,  
идут они медленным шагом  
на поиски боровиков.

И каждая птица на ветке  
поёт, не смолкая, о том,  
как светятся белые клетки  
на шахматном поле грибном,

как духи разумной природы  
на них расставляют грибы

в местах, где подземные воды  
таинственны и голубы.

А после в нечаянном месте,  
в укромных ложбинах лесов,  
находит их новый грассмейстер  
и щёлкает кнопкой часов.

Хороший грибник — это веха  
в сюжете лесных повестей,  
история пишется эхом  
земли на границе дождей.

Из розовой тучи на плечи  
польётся вода косяком,  
и будет игрой обеспечен  
любой, кто рождён грибником.

\* \* \*

Бывает, встрепенёшься в одночасье  
и слушаешь, разобранный на части,  
как жизнь перемещается туда,  
куда по трубам катится вода.

Судьба имеет форму коромысла.  
Нанизывать слова на нити смысла  
такой же труд, как сеять ковыли,  
летая над поверхностью земли.

Я примеряла пафос адмирала.  
Я матрицу собою измеряла,  
но этот незатейливый прибор  
неправильно работал до сих пор.

И вот, о, чудо, снег упал на крышу,  
я дергаюсь, но я себя не слышу,  
любой, не сочиненный мною стих,  
как лебеда, безрадостен и тих.

Моя прабабка видела вживую  
гражданскую, Вторую мировую,  
но снова возгорелось вещество,  
и я не понимаю ничего,

лишь вижу очертанья дымной Трои,  
луну и солнце, небо над героем,  
разбросанные в море корабли,  
растерзанного Гектора в пыли.

Запропасться б в тёплом одеяле,  
и в кокон превратиться в идеале...

\* \* \*

Героический ветер всю ночь причитал,  
по Егорьевской трассе мело,  
на заре небеса превратились в металл,  
в водоёме разбилось стекло.

Снегопады способны влиять на умы;  
в эпицентре холодной войны  
боевые снежинки — сержанты зимы —  
на позициях поля видны.

Ледниковые камни ветра перетрут;  
ощущая свою глубину,  
в кривобокое зеркало пялится пруд,  
опасаясь увидеть луну,

опасаясь узнать, что застыла вода  
в силиконовой форме души,  
что не звёзды, а синие кубики льда  
по ночам опадают с вершин.

Миллионы людей на планете Земля  
никогда не видали снегов —  
чтобы каждый декабрь начинался с нуля,  
надо мёрзнуть в приёмной богов,

и смотреть, как неистовы и далеки,  
в молодом исступленье своём  
городские снежинки, расставив клинки,  
на смерть рубятся под фонарём.

\* \* \*

Морозный дух явился не вчера,  
писали зиму Врубель и Саврасов —  
летающий снег поёт по вечерам  
под музыку небесных контрабасов.

Летят снежинки, город серебра,  
и целый полк арктических матросов  
просматривает сводки декабря  
о зимнем наступлении морозов.

Поющий снег рассыпан по земле,  
солистов ураган сметает влево,  
но я не стану спорить о тепле  
с синоптиками Снежной королевы.

Несётся белизна со всех сторон,  
ликует новогодняя эстрада —  
я восемнадцать ёлочных шаров  
купила маркетологам на радость.

Мне лестно накануне Рождества  
писать стихи о празднике. Но лучше  
в глубокие бокалы разливать  
тягучие оттаявшие души.

Зима осуществляет свой набег —  
натянутыми струнами играя,  
вечерний снег поёт, как человек,  
о холоде потерянного рая.



Дмитрий Исакжанов

## АНТИЧНЫЙ СЮЖЕТ

Повесть

Раньше боялся и я темноты, пустых привидений,  
Я удивлялся, что в ночь храбро идёт человек.

*Овидий, Любовные элегии, книга 1—6*

### 1

Будто кто отпел меня живого или сам я надел шапку наизнанку и так ходил — не знаю, но тоска и чувство полной опустошённости, какое бывает, когда одно, едва ли не всю жизнь занимавшее, дело сделалось и ничего уже больше не будет, навалились на меня, держат и не отпускают. Снова стала вспоминаться история, случившаяся со мною много лет назад, вспоминаться неотвязно, настойчиво. Во сне я опять бегу по серым сырým ступеням сталинской парадной, тяжкие меандры ведут меня всё выше, от этажа к этажу, пролёты удлинняются безмерно, но я бегу, и вот, на одной из площадок — две фигуры. Звуки борьбы, возня... Я останавливаюсь. (Невнятное бормотанье, возгласы, ткань трётся о ткань, ошмётки снега расшаркиваются слепыми подошвами в хвостатые слякотные мазки.) Я хочу что-то сказать им, но — жара, жара, шорохи! Шорохи сливаются в один сплошной гул, гул дробится, разносится по подъезду, и вот уже лентуловским эхом рассыпается, увлекая за собой и стены, и двери, и окна — всё. Летит, проваливается в колодезь, что пронимает пространство подъезда сверху донизу разом, как озарение, и я просыпаюсь.

Я открываю глаза и смотрю в подсвеченную уличными фонарями мглу. Шум ночного города режет её на узкие ленты: гул машин, далёкий вопль электрички. Ах, этот сон, знакомый уже наизусть! Каждая новая ночь тасует его, что-то меняет, переставляет порядок событий, но сохраняет неизменным главное, и опять, и опять возвращает меня назад, в прошлое. Будто там, в прошлом, осталось что-то недорешённое, недопонятое, и это что-то очень важно для меня, его обязательно нужно дорешить, понять окончательно, и для того нас, проблуждавших какое-то время врозь, вновь сводит, соединяет вместе (где, в пространстве? — если да, то где оно, такое пространство, существует? если же в памяти... нет, не хочется верить, что это осталось только в моей памяти) некая сила взаимного притяжения, но, не выдержав напряжения, целлулоидная

---

*Исакжанов Дмитрий Константинович* — прозаик, поэт. Родился в Омске в 1970 году. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность» и др. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Подольске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 3.

лента сна рвётся, рвётся раз за разом. Увлечённый инерцией увиденного, машинально, поверх ночи и поверх сна, я сам принимаюсь восстанавливать картину минувшего, словно процарапываю рисунок на тёмном стекле. Всё вышло так нелепо, что даже не верится, что это было на самом деле, однако я не теряю надежды, и чем дальше уходят события в прошлое, тем больше они обретают достоверность сновидения.

...Зима тогда выдалась необыкновенно снежной и тёплой. Тёплой даже для средней полосы России, и на каждой станции, на каждом полустанке, едва поезд мой миновал Урал, я, выскакивая из вагона хоть на минутку, хоть на полноска, чтобы оглядеться и понять смысл своего движения так далеко от дома, чувствовал, как балует ветер, толкая в спину широкими мягкими ладонями, как ерошит отросшие уже волосы, и шурился, и ликовал, касаясь руками отпотевшего металла поручней: во дела!

Леса рвались, брались в скоп и снова расходились, уступая то человеку, то степи. Стояли туманы. С утра среди слоистых волокон часто показывались станции: белые на белом, они виделись в полтрубы, в четверть дома, а то и вовсе едва. Ночью, в долгих окнах на булавочные проколы света, гадалось: «Это кто ж в такой глухомани, в дальней дыре такой живёт, свет светит? И зачем это он? Неужели всю жизнь — так?» Всё — вдогонку, вослед: огни сходили быстро. Но думалось ещё долго, и долгой очередью шло сердце, становясь, возвращаясь и опрокидываясь в россыпь, пока не терялось в забыты, как и сам я, валко бросаемый справа налево в плацкартной своей колыбели.

Раскидывались петли тупиков: ульнарные, радиальные. Надрывно, как на исповеди, кричали ржавые голоса, расталкивая пришлых по запасным. Составы мялись и ржали. Часами стояли на подходах: города не принимали — и бродило в вагонах, и сморкалось, курило и плакало, и ругалось бессильно, и ело. Пузырилась жёлтая пена. Наш — божьим попусением да щучьим велением — мчался почти не останавливаясь. Мягко подкатывал к сверкающим полоскам асфальтовых перронов и, остановившись, ронял капли дотаивавших сибирских льдов в здешние лужи. Бабушки бились о стёкла, крестились и икали. Дети, сатанея от безделья и тесноты, лезли на потолок и обрушивались сверху, давя коленками, острыми, как беговые коньки; дыша в лицо досрочными мандаринами сами назывались: «Меня зовут Маша! А меня — Петя! Я — Вася!»

Часто меняли за окном шпалы: сотворённые из тьмы светом фар, мужики в ватниках орудовали ломami легко, как зубочистками, и бродили по пояс в снегу.

— У нас, что ли?

— Нет, на соседних...

Взрослые спали или притворялись, что спят: головы на подушках в платочках, головы без платочков, ноги в носках и без, величественное распрямление крановых стрел и влажные, нечистые руки в проходах. Отвечивала в жидком солнце полированная годами кожа, сверкало ночами фульминантное золото.

Чужие жизни, в которые можно безнаказанно вглядываться. Откровения, которые можно повторять.

Сутки, сутки ещё, ещё сутки.

Время двигалось рывками.

О, как много пространства, как мало возможностей! О, как сквозь зубы ноет душа! Все спуют, все перемещаются. Страна в смятении: что-то происходит! Что-то будет? Пришло, ожило, началось! Ах, ведь что-то будет, что-то будет! Вот — подхватило и меня. Подхватило, понесло, и поскакал я зайцем через горы, полетел через степи, помчался, кружа круги и возвращаясь, но всё дальше, всё же всё дальше — помчался!

О вы, скифы, кочевники, со смешком а то и с достоинством называющие себя «челноками»! Густой, липкой своей паутиной накрыли вы веси — горе, горе вам! Скупили вы все билеты — воздастся вам, ужо! — и почти невозможно влиться в круг движения, и хочется, а невозможно отойти даже за Входную. Накануне праздников — особенно.

Мой милый папа, мой добрейший папа, ошавевший от решения сына, но, как и должно стоику, не подавший виду, ибо был уверен, что случится только то, чему предначертано быть свыше, отвёз меня, безбилетного, на старенькой своей «шестёрке» в полночь к проходящему поезду и, пообещав не давать телеграммы, растворился в метели, а я за четвертак обрёл себе у проводника право быть в сонной смердящей тьме и, присев на краешек чьей-то постели, до самого отбытия смотрел на то, как кружатся, взлетают и стремятся к земле снежинки, ничего не отнимая и ничего не прибавляя к мраморной белизне за окном — словно всё, что можно отнять у мира, было уже отнято, и всё, что можно прибавить к нему, было уже прибавлено, и осталось лишь одно: изобличать собою вечное движение, чистое и бессмысленное.

О вечное движенье!

*Отроду был я ленив, к досугу беспечному склонен,  
Душу расслабили мне дрёма и отдых в тени.  
Но полюбил я, и вот...*

Я смотрел в окно и не знал, где моё сердце. Я бы хватал свою душу, как дым — она растекалась, — но мне было не до неё: я ехал... в гости. (Огорчало, что работу по Овидию я так и не сдал, но... «Ничего! — утешался я. — Сдам в следующем семестре. Наш Гектор Кузьмич мне, как лучшему ученику, простит. Мне — простит».)

Скорее, триремы!

*Полюбил я, и вот...*

На каких-то одних строчках крутилось всё, что я делал. Главным было ликование: еду в гости!

«О, этот снег! Уже второй раз подряд отмечена тобой важнейшая веха моей жизни!» — думал я. Я был сентиментален.

Слова, как и мысли, неожиданным образом обрывались.

Я засыпал. Мне дали место. Не просыпаясь, я застелил, разулся и лёг. В жёстком, как мыльница, дипломате, одолженном у приятеля для солидности, болтались пять носков (не счёл в спешке), трое трусов и зубная щётка. Дипломат ёрзал по третьей полке, постигая пределы, доступные малому его движению.

Сон мой окатывало голубыми громами света наотмашь, наискось, наугад. Вот — хлестнуло и пропало. Глаза на миг разомкнулись — сверкнула случайной белизной чья-то рубчатая джинса. Радость тут же проснулась: еду! В гости! А в голове, к холоду обращённой, в мозгу горячем — руки, руки, руки. Во сне я держал её руки, тискал маленькие ладошки, обещал приехать и — спохватываясь: ах, да что это, ведь я уже еду к ней, еду! «А я скажу ей... — принимался я воровать — А она мне ответит... И тогда мы...» И векторы движений и расстановки сил сами собою сходились где нужно, бледно-голубые линии выходили убедительными, как чертежи пионеров авиации, как карты предполагаемых к открытию земель. И всё же я робел: что-то будет, что-то будет?

Трое суток безвесного светового движения, бытия чистой ликующей души, жизни замкнутой на себя. Что я ел? — не помню. Да и ел ли что-нибудь? Я мог бы кормиться с руки, подбирать крохи, я мог бы голодать, как Франциск, ходить босым и нагим — и скверна не приставала бы ко мне, я любил всех...

Чай, впрочем, я пил. Не знаю, что думал обо мне проводник, но чаем он угощал бесплатно. Да и сердобольные поезжане рады были залучать меня к подблюдным разговорам: я отзывался, я был мягок.

Через трое суток хрустальные россыпи гусиных городков с перронными торговками снедью, ромалы с оренбургскими шальями (кольцо — отдельно, в руки не даю!), ах самары-городки с их блядскими вокзальными наигрышами, разносчики магических камней, показывающих настроение, и чёрные, словно отдавшие своё детство за долги, продавцы мягких игрушек остались позади: тридцатого декабря тысяча девятьсот девяностого года утром я спустился по железным ступенькам вагонной лестницы на чужую и неускользающую землю.

Коснувшись ногами перрона, я ощутил биение своего сердца, подобное ходу поршня в узком стирлинговом цилиндре, и огляделся. Здесь стоял довольно плотный туман. Вдали смутно виднелась вокзальная башня старинной постройки. Часы угадывались под самой её крышей. Я сощурился, пожелав узнать, который час, и циферблат тотчас задвоился, затроился, а затем и вовсе исчез. Я вернул взгляд — толпа, кипевшая на перроне, испарилась, оставив лишь грязную слякоть под ногами. Исчезли тараканистые старички и старушки, увалистые девочки с гренадёрскими тенями под носом, робкие мальчики, тётки, стёртые мужички неопределённых лет — исчезло всё. Замызганные двери с лязгом захлопнулись, и состав, дрогнув, повлѣк мимо меня чешуйчатые бока вагонов, пропадающие из виду уже через каких-то пятнадцать-двадцать шагов в неизвестности, в уже не моём будущем.

Папа, кажется, сдержал обещание: я стоял на перроне один.

В свободной от дипломата руке я держал почтовый конверт, полный дорогого мне письма. Оно служило источником адреса и картой, не заглянув в которую ни разу, трое суток я мчался к месту назначения. Я перечитал в нижнем правом углу: «Ул. Леонова». Где это? Но сначала нужно выбраться отсюда... Я сделал наугад несколько шагов в одну сторону, потом, заметив, что башня с часами удаляется, повернул обратно: туда, в вокзал. Там и выход в город должен быть, и портулан его. Спрашивать дорогу у прохожих мне казалось невозможным: я был всё ещё отделен от всего, как дух, и несоединим ни с чем, как свет.

Чѣрт, что это за дрянь, соль они, что ли, рассыпают? Берега морские. Таак... Здесь, кажется, ступеньки. Канава? Или у них это нечто естественное? Однако!

Перрон поворачивал и разделялся на два рукава. Какой из них? Я медленно побрѣл по одному, загадав выигрыш, и скоро заметил, как в тумане, однородном и будто бы ещё более уплотнившемся, наметились две неоднородности. Неоднородности превратились в две фигуры, одну побольше, другую поменьше. Фигуры приближались ко мне, становясь всё отчётливей. Шуба и пальтишко. Я опустил взгляд, чтобы не искушаться возможностью спросить дорогу и — «О, вот он где гуляет!» — вдруг едва ли не у самого уха услышал возбуждённый, почти детский голос.

И море, винноцветное море минувшей осени захлестнуло меня с головой, затопило всё, от казахстанских степей до здешних оврагов, и всё стало одним...

Ну, папуля...

## 2

С., сирена, зовущая меня, голос тѣмных струящихся вод! Песнь, пропетая днѣм союзной цевницей, ночью — одинокой свирелью, на зов твой, откликаясь, иду во времени, объявшем меня до души моей. Имя твоѣ, не знающее границ, сожигает меня. Ты — берег, к которому стремлюсь, ты — море, в котором тону. В день нашей встречи

я окунаюсь возвратным приливом памяти и в призраках твоих, выходящих отовсюду, блуждаю.

С., морок мой, огонь мой! Где ступают ноги твои теперь, поднявшиеся тогда на шаткий облезлый стул, поставленный на стол, чтобы поправить зацепившиеся кольца шторы, подобной парусу (пять и пять белёсых бугорков в капроновых сумерках перебегают с места на место в поисках равновесия), где звенит слов твоих музыка, на которую вышел я из пахнущей конфетами, и печеньем, и лежалой бумагой, и старым деревом подсобки солдатской чайной? Я схватился за руки твои, протянутые с высоты — схватился жадно, словно мне, а не тебе, требовалась помощь — и эллинические завитки твоих чёрных волос волнами колыхнулись надо мной.

На кого смотрят сейчас глаза твои, С.?

Ловко сунув ноги в сброшенные туфли, С. весело поблагодарила меня за любезность и вернулась к подружкам, а я вернулся в подсобку, где, гальванизируясь собственной речью, продолжил излагать своей разлюбленной буфетчице перечень событий, приведших к нашему с ней знакомству. Я начинал издалека: «Представляешь? Метель только-только улеглась, и мы выходим из дома гуськом, чтобы не провалиться в сугробы, на абсолютно белую, абсолютно ровную поверхность двора (я еле-еле смог отворить дверь подъезда!), а над всем — чёрное, совершенно чёрное небо! Ночь! И звёзды! (Я уже едва не выкрикивал драматические и величественные обстоятельства.) Вокруг ни души, окна окружающих домов почти все слепы, — лишь одно-два, много три, где жёлтый свет, такой слабый, что мне кажется, вот-вот погаснут и они, и, поднявшиеся в неурочный час по случайности ли, по необходимости ли жильцы махнут на всё рукой да и отправятся спать; да-да, такой жёлтый свет, что, кажется, там не воздух, но мёд, мёд собранный пчёлами Персефоны, и жильцы в нём движутся еле-еле, увязнув, и не спать будут они, а ждать так, в позах своих, когда жёлтый свет нейтрализуется белым светом дня...»

Я перевёл дух и остановился: видимо, описание зимнего утра завело меня куда-то совершенно не туда, куда мы — отец, я и мать — собирались. Странно. С чего это? Я вроде всегда слыл рассказчиком неплохим...

Словно для того, чтобы сориентироваться на местности, ставшей вдруг незнакомой, я оглянулся на прикрытую дверь подсобки, прислушался к голосам, звеневшим в зале, поправил ремень, перевёл дух и продолжил, выворачивая на привычную тропу: «А мы всё идём, идём, стараясь ступать след в след, словно пытаемся кого-то запутать, не выдать ни цели своей, ни числа чьему-либо праздному любопытству и злой воле, и огромная сумка с провизией чертит жёлоб в глубоком снегу то справа, то слева от ямок, в троекратном повторении превращающихся в колею. Руки, сжимающие ручки сумки, без варежек отчаянно мёрзнут, сзади слышится ругань матери, привычно и безнадежно проклинаящей меня за мою непрактичность, выдаваемую за принцип, за этот ранний час, указанный в повестке, отца за опять сломавшуюся машину, и весь мир за его бестолковость и свирепое сопротивление её попыткам жить нормально, правильно, как все люди живут. К дверям, у которых толпятся призывники, мы подходим, когда ещё не исполняется и семи часов...»

И снова ладони по ту сторону конторского стола впадают в ладони по сторону эту — стол старый, возникший где-то на переломе если не геологических, то исторических эпох, не чета тем насекомым конструкциям в зале, что сверкают тонким никелем; у этого — углы обтёрты, дверцы, прикрывающей внутренности тумбы, нет, и на полках видны стопки истлевающей ломкой бумаги, засиженной тараканами, газетные свёртки с чем-то, кажется, с подношениями и жертвами, боком всунутые деревянные счёты и даже почему-то тонометр. Столешница чиста, наши руки скользят по ней.

Слагаются, соединяются, переплетаясь, русла вен, смыкаются и размыкаются, поднимаются и опадают ладони...

— Ой, а сколько уже времени? Идти же надо!

— Ещё немного.

Двойственный ответ. И я продолжаю: «А прошлым летом я был в Монголии, в Эрдэнете. Там есть горы. Не такие сопки, как здесь, а настоящие горы, скалистые! Невысокие, правда. Мы у одной даже останавливались: думали, отдохнём, перекусим и дальше в путь-дорогу, а задержались часа на четыре — всё лазали там, как дети, все, и я, и водитель, и начальник наш. Ага. А водитель даже змею видел! Заметил, когда через расщелину перепрыгивал, — та, в узел свернувшись, в сырости лежала. Так он направление полёта прямо в воздухе изменил!»

— Благодаря чему, интересно?

— Ну, благодаря реактивной струе, вероятно. Об этом ещё Кибальчич с Циолковским писали.

— Вместе?

— Нет, врозь. И Лавуазье до них...

— Так, ты тут ручками-то своими не очень лавуазье, войти могут в любой момент.

Я чуть отклоняюсь и продолжаю: «До вершины я, правда, так и не добрался, но свою дозу адреналина получил: карабкаюсь по стене почти отвесной, с уступа на уступчик скачу, как коза, ну а в одном месте смотрю — прямо над башкой каменюка навис. Я глянул на него — мама дорогая, ни перебраться, ни облезть! Глянул вниз и понял: спуститься точно не смогу. В общем, хоть караул кричи. Но, как известно, в горах и в жизни легче подниматься, чем спускаться. И, как видишь, я у твоего стола...»

Я делаю паузу для изъявления восторгов и восхищений, и, не дождавшись, ободренный лишь улыбкой да васильковым светом глаз, плету словеса дальше: «Ну, а когда добрались до части, естественно, на работе уже никого из начальства не было, и мой прапорюга впал в панику. Ещё бы: везли, как обычно, документы, а спецемодан он брать поленился: сунул всё за пазуху. Вот мы и зависли: нас куда не принимают, прибытие никто не отмечает, из расположения части просят удалиться — хоть ночуй на улице, — а бумажки с грифом “Совершенно секретно” за пазухой, прикинь! Выпросили у дежурного разрешения позвонить в свою часть, так бедный мой корнет чуть не разрыдался, когда докладывал начальству. Я был просто в шоке — представляешь, он так и сказал: “Товарищ майор, я сейчас расплачусь”. А я по голосу его и томным персидским очам понимаю, что это не фигура речи, и сейчас так оно и будет. Уф... (За дверью, кажется, смеялись.) Короче, не знаю, что ему там в телефоне сказали, но смотрю — он уже повеселел, передал трубу дежурному, тот то да сё, так точно — никак нет, и через полчаса мы уже вялились в офицерской общаге. Эх, почти гражданка! Тебе не понять. Да что там институт. Ха, пять лет. Так и я бы смог: захотел — пришёл, захотел — ушёл, а надоело, так вообще уволился, и домой. А тут... тут, знаешь, что самое ужасное? Что ты себе не принадлежишь. Ты никто — не человек, не личность. Тобой распоряжаются, за тебя решают, и непонятно, для чего ты живёшь, да и жизнь ли это. Знаешь, чего больше всего хочется в армии? Заныкаться, как мышь, чтобы хоть миг побыть наедине с собой, чтобы вернуть себе себя, снова стать человеком, понимаешь? Потому что человеку хочется, в первую очередь, быть человеком, каким бы он ни был, хоть уродом, хоть дураком, а — собой. Вон, возьми Тесея: был героем, женихом царской дочери, сам кандидат в цари, а послал всё к чёрту и попёрся за Прекрасной Еленой — всё сделал не так, всё, что только можно, но зато по-своему. Он собою был. А ты — “пять лет”... А? Куда полез? Да вверх полез. Отдохнул, осмотрелся и... А, сейчас... Ну... Да ничего, это я так... Если хочешь, ещё за водой сбегая. Да, как один день».

— Пойдём. Ты меня проводишь? Только не до дома, ладно? Ой, подожди немного, сядь, посидим. А то ещё увидит тебя кто-нибудь *такого*. Нет, дружок, ты теперь вон там садись, у дверей. Кстати, как там наши гости, ещё сидят? Пора закрываться. Пойду скажу им. А, упорхнули уже...

Или о Кулунде: долгие серые месяцы. Бесконечные, как заснеженная степь кругом. Протяжённость там — единственное, что соединяет время и пространство в единую среду бытия, и о чём бы из двух составляющих ты ни вспомнил, отзывается и приходит в движение один лишь зрачок. Разбег взгляда останавливает лишь горизонт: умозрительная линия, за которой дальнейшая жизнь подразумевается только гипотетически. Снова и снова переживание едва ли не мистического опыта непосредственного соединения с чем-то вроде судьбы: государство, безликое и неосязаемое, как воздух, вдруг посредством маленькой, размером с осьмушку, бумажки вполне ощутимо вмещивается в твою жизнь и подчиняет её новому, своему, порядку. Мене, текел, упарсин.

Тоска, протяжная, как вой ветра в проводах, дни напролёт в компании с радистом или наедине с книгами, и грустная мысль о том, что здесь, в армии, жизнь уходит в пустую, в армейских же командировках пустота её достигает каких-то немислимых, абсурдных величин — словно сновидческий, вполне осязаемый результат деления ноля на ноль. И радость скорой весны, когда видишь, как в полдень, с чёрного рубероида сарайки, паря, прямо на глазах исчезает грязная наледь.

«А вот ещё был случай. У начальника моего, ну да, у того самого прапора, была эпилепсия. Я-то давно об этом знал, а он просил никому не говорить — ведь комиссуют в два счёта, и гуд-бай, карьера, — ну, я и молчал. И вот едем мы как-то летом на ЗИЛе своём по степи — втроём в кабину сели, чтобы веселее было, болтаем — а жара! — и вдруг прапор как заорёт! Как подлетит башкой до потолка! И вааалится на меня... Ну, я-то в курсе, что это такое, а вот водитель... Короче, он по тормозам, чуть не на ходу выпрыгивает из машины и как сумасшедший несётся по прямой, куда глаза глядят. Я высунулся из кабины, ору ему: “Стой, стой!” — но он, конечно, нифига не слышит. Несётся... Он бежал, как зверь, бежал, пока не выдохся — по степи много не набегаешь. А я уже не орал, я просто на подножке стоял и смотрел. Я был заморожен, понимаешь, — заморожен! Человек, в котором волею обстоятельств вдруг открывается первичная, животная его основа! Страх обнажил её, представил в открытом виде, довёл до высшей чистоты! Обычно мы скрываем свои чувства даже от самих себя по разным причинам — робость там, корысть, тщеславие, а тут... Я потом ещё часто вспоминал эту картину. Глаза закрою и вижу. Вот прямо вижу, как он бежит. И не то, что бежит, а вот это, неприкрытое. Ужас этот и замороженность свою...»

И снова слова, снова прикосновения и синие-синие глаза. И так не хочется возвращаться в казарму.

Служба мне давалась тяжело: с детства я был подвержен рассеянности и странной бездейственной созерцательности, нападавшей на меня внезапно, стоило лишь на чём-нибудь сосредоточиться. Словно, сосредоточившись, я в один миг преодолевал физические границы предмета своего созерцания и улетал мыслями куда-то туда, где светоносный эфир и эйдос. Стоит ли удивляться, что одеваться за сорок пять секунд я так и не научился (а судя по тому свирепому вниманию, которое этому уделялось, то была одна из важнейших солдатских наук), — тело уже заранее, безо всякой сосредоточенности на нём, было отчасти как бы не моим, работа же... работа, как и речь, тоже уводила меня далеко. Я мучился, со мной мучились... В конце концов определили меня на почту: от проверок, от проверяющих, от греха подальше. Отцы-командиры вздохнули с облегчением, да и я перевёл дух, осмотрелся и решил:

*Евгений Коновалов*

## В посудной лавке мира

\* \* \*

Прошлое набрасывается из-за угла  
с удивлённым окликом и лавиной  
низвергается, так что выстроенный уклад  
весь в развалинах еле видных.

Череда вопросов громоздит леса.  
Скорой нитью сшиваются обрывки сплетен.  
Две улыбки начинают плясать  
и кокетничать в уличном переплёте.

Но из времени — никудышный шутник,  
куда веселей — портретист и скульптор,  
и на всём лежит холодок его пятерни,  
выцветающих красок скупость.

Кракелюры морщин, возле губ следы  
ретуши, кадмий у переносицы рядом  
с алым контуром век... Это лицо ли ты  
целовал, ненавидел, боготворил когда-то?!

Всё бумага выдерживает и ничуть  
не сочувствует. Лишь память блажит у края  
жизни, то силясь поглубже в неё нырнуть,  
то на тень бессмертия уповая.



\* \* \*

Поэт — и слон в посудной лавке мира,  
всеведущ — и не в силах превозмочь  
сердечной пагубы, чему точь-в-точь  
обучен сызмальства любой проныра.

Мутанты мы, и сонная квартира  
нас выгоняет заживо в ту ночь,  
где светский раут памяти охоч  
до пошлости и уж разохлась лира.

Да, вымирать пора. Зачем же с краткой  
избыточностью тянется игра  
слепой природы? Днесь и присно сила  
творения ещё глагол украдкой  
вручает, окликает со двора, —  
и высыхают новые чернила.

### *Рафаэль*

Не мачта ЛЭП, а шестикрылый  
ажурный серафим  
гирлянды пальцами сжимает через силу,  
и лунный нимб над ним.

Так он стоит у перекрестья,  
где льётся Млечный Путь на улицу  
Свободы непонятной вестью,  
а пьяница внизу сутулится  
и валится ему под ноги  
блажным, не то убогим.

Под электрическое тремоло  
от проводов Земли  
январский воздух объявляет: застарелые  
дни Товия прошли.

Он перепутал век издания,  
он говорит — темно и грозно,  
что небо приручённым станет,  
и трансформатор на морозе —  
гляди, гляди — гудит на страже  
побоев или кражи.

Бог-робот поступил на службу  
и с лампой на челе  
струится чудной нейросетью, чтобы слушать  
нас — в адской толчее.

Звонок — и мысль под прицелом,  
того гляди, вживят по совести.  
Скафандром обернулось дело  
в религиозной невесомости,  
и тенью полнится планета  
искусственного света.

---

Не бойся верить, Рафаэль,  
и лунной головой  
в потёмках не качай, — заржавленный ноэль  
звучит — и бог с тобой.

\* \* \*

Ничего не подскажет страница,  
полно плакать и нечем гордиться  
перед синью безбожных небес,  
где саднит реактивный порез.

О явлении солнца во мраке.  
О бессилии слов и бумаги.  
О сомненье на доньшке глаз  
Бога, спящего в каждом из нас.

Назови эту местность востоком,  
но пророка тут нет, лишь восторгом  
оживляется в пику врачу  
весть овсянки навстречу грачу.

На краю просветлённого снега  
не гранитом застыть, а побегом  
ивы над безымянной водой,  
уносящей цитаты с собой.

\* \* \*

Джо Дассен в подземном переходе.  
В полушубке на снегу Вивальди.  
Мусоргский ночует у ларька.  
Зёрна нот при пятничном народе  
расцветают на асфальте,  
спрыгнув со смычка.

Сердце стынет, пальцы коченеют.  
Бесталанность родненькая снова  
под руку берёт наедине.  
Ложе Волги сквозь огни чернее  
хмурой ямы оркестровой  
с горечью на дне.

Сам себе бормочешь: «Человече,  
дни свои каким зерном наполнить,  
чем талант неверный оправдать?»  
В рот набрал воды ноябрьский вечер,  
и муаровые волны  
музыке под стать.

\* \* \*

Жёлтый снег на фоне фонаря.  
Вороньём разбуженные скверы.  
Площади разлук. Руины веры.  
Парки оборванца-ноября.

Тополь цвета хаки на плацу,  
липовым парадом сбитый с толку,  
приготовься к заморозкам долгим,  
и кольчуга льда тебе к лицу.

Или нет, рыдай по всей любви  
с небом заодно, качая гнёзда,  
обнимая свой чернильный воздух,  
жалуясь на ветер, — но живи.

С нежностью крещенской эту ночь  
проведёт изменчивое сердце, —  
снегом ли попытаюсь отогреться,  
самого себя ли превозмочь.

*Надежда Лидваль*

## И правда возможно...

*Рассказы*

### *Смерть Глеба*

В девять лет Глеб любил малосольные огурцы и плевать с балкона. В двенадцать любил думать, что ещё вся жизнь впереди. А в пятнадцать полюбил свою смерть.

Он увидел её как будто бы случайно: открыл однажды вечером рюкзак, а там она притаилась — обхватила тетрадь по обществознанию и жуёт уголок страницы, смакует, прикрыв глаза. Это потом она ему призналась, что сама подстроила встречу. Так бы ни за что не показалась раньше срока: из природной стыдливости смерть никогда не лезет вперёд и большую часть времени прячется в паузах между выдохом и вдохом. Но Глеб уже давно ей нравился, она, конечно, долго думала, сомневалась, но всё-таки решилась ему открыться заранее — а там уж как пойдёт.

Оказалось, смерть много лет за ним наблюдала. Это она сидела у акушерки на левом плече, когда его, до смерти напуганного светом, выдавили в люди. Она цеплялась за пелёнки, путалась в велосипедных спицах, качалась на Глебовых дредах, ластилась к нему на заброшенной стройке, собирала у него по карманам табачную труху и посыпала ею свои волосы.

Смерть сказала, что ближе Глеба у неё никого нет, и просила её не гнать. «Пусть будет», — подумал Глеб.

Так они и жили — в общем-то, как раньше, только теперь оба друг о друге знали уже наверняка. Вот Глеб сидит с учебником за столом, а смерть щиплет его за ухо, гладит по шее, ерошит волосы на затылке, переворачивает страницы взмахом ресниц. Днём смерть ходит за Глебом по пятам, а на ночь укрывает его одеялом.

У Глеба был в школе друг, — не друг, а так, нормальный вроде пацан. Он рисовал на партах деревья, смотрел на всех волком и один раз сказал Глебу, что подружился со смертью и планирует скоро пойти за ней — сам, когда захочет, — потому что здесь ему всё равно делать нечего. Глеб встревожился: не о его ли смерти речь? Он спросил, как она дышит, тонкие ли у неё запястья, ступает ли её правая нога тише левой, а главное — боится ли она ветра. Тот не понял, и Глеб успокоился.

---

*Надежда Лидваль* родилась в 1990 году в Омске. Окончила Омский государственный университет, работает переводчиком. Печаталась в журналах «Новая юность», «Традиции&Авангард», «Пашня» и др. Живёт в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

А через месяц все узнали, что парень повесился на кладбищенском дереве. Глеб в тот же вечер написал такой пост: «Свою смерть нужно любить. В крайнем случае, уважать. Ближе её у вас всё равно никого нет. А главное — ей ничего от вас не нужно: ни квартир ваших, ни донорских почек, ни денег. Дайте только ей время. Нельзя её торопить, не то она придёт за вами растрёпанная, наспех одетая, с нечищеными зубами. А если любить свою смерть, она отблагодарит, не бросит в нужный момент и позволит умереть лишь однажды».

Дед Глеба повстречал смерть два раза: сперва на войне, потом в жениных родах. Его первая смерть до него не дошла, хотя он уже видел, как она прохаживается мимо больничных коек и вглядывается в лица, и тянулся к ней, напрягая всё тело, соштопанное свежими швами. А она вдруг остановилась над кем-то другим, в бреду лепетавшим что-то красивое, и положила руку ему на шею, и тот перестал шевелить губами. А потом повернулась и узнала Глебова деда, всплеснула руками и тут же пропала. Обозналась. Во второй раз дед умер уже наверняка, но забрала его не родная смерть — той было стыдно, и она больше не вернулась, — а смерть жены, бабки Глеба. Дед так ревел и корчился во время её потуг, что смерть приняла его за роженицу и не сдержалась — обняла.

Бабка потом растроганно вспоминала на каждом семейном обеде, как легко она родила, но про деда и две его смерти рассказала только внуку, и в тот самый день, когда ей позвонили из школы и прочитали его манифест. На следующее утро она отвела его в церковь. Поставила перед алтарём и сказала: «Молись, чтоб никто больше не узнал». Глеб посмотрел на белый, сыростью переливающийся купол. Так у них было принято: раз в сто лет закрашивать старые росписи и делать поверх новые, актуальные. Художник особого порядка не придерживался. Тут только руку нарисовал, там осколок креста, где-то просто зубы. Он, говорят, работал по мере поступления образов: прибежит, кисти похватает, намалюет, не снимая дублёнки, и убежит. И так до следующего озарения.

Глеб долго глядел на эскиз исполинского бога в меховой шапке, что двенадцатым пальцем чесал левый нос, и мысленно попросил у него сил держать язык за зубами. Бог согласился, и Глеб держал. Стиснув челюсти, закончил школу, выучился на менеджера и женился на Ире.

У Иры был тихий взгляд и грустный голос. Днём она придумывала узоры для постельного белья: рисовала розовых фей без тени мысли в глазах, мясистые розы, психоделические ромбы и нескончаемые полосы. А ночью забиралась в белую постель, где уже лежали муж и его смерть.

Жена её не видела, а Глебу всё нравилось и так. Он со своей смертью уже свыкся и сросся и не отличал, чьи пальцы касаются, Иры его или смерти. Ира, правда, иногда жаловалась, что её по ночам кто-то не то щекочет, не то корябает, а это — смерть прижималась щекой к её животу. Глеб видел, что она чего-то ждёт с одержимой нежностью.

Неделе на десятой Ира закрасила все свои эскизы. Два дня из-под печатных валов выходило сплошь чёрное полотно, и Иру попросили уйти в декрет пораньше. Выдали ей в подарок комплект белья, чёрного, как дёготь.

Родилась дочка — недоношенная, молчаливая. Почти не плакала. Только ночью иногда мать слышала сквозь сон воркование и клёкот — а это смерть Глеба щекотала ей пяточки и кормила её своим молоком. Кормила и напевала:

Бай да бай, бай да бай,  
Спи, дитя, засыпай.  
Спать тебе осталось  
Самую-то малость:  
Вот ты ножками пойдёшь,  
Вот немножко подрастёшь —  
Мамочка поспеет,  
Разбудить успеет.  
А пока тебе пою,  
Моё дитяtko,  
Ты ложися на краю,  
Моё маленько.

Ира укрывалась с головой белым одеялом, крепко-крепко зажимала ладонями уши и слушала, как шумит кровь.

В два года дочка сказала родителям:

— Через несколько месяцев я заболёю и врачи сперва не смогут понять почему. А когда поймут, будет уже неважно, но это нормально. Мне вдруг станет неинтересно всё, кроме узора на моём покрывале и боли в висках, но это тоже нормально. Главное — не мешать. Понимаю, вам будет неприятно со мной расставаться так скоро, но нам всем станет легче, если мы наберёмся терпения и не будем лишний раз мучить меня докторами и иголками. Просто потерпите, хорошо?

Глеб будто оглох после этих слов: как сел на кухне перед кружкой с чаем, так и сидел, ни с кем не разговаривая. И на смерть свою смотреть уже не мог. А Ира копошилась в интернете, печатала, не попадая по клавишам, искала там себе надежду хоть самую убогую.

Но интернет не помог, и врачи не помогли. Дочка лежала в горячем облаке своей лихорадки, почти не шевелясь. Смерть Глеба склонялась над девочкой, остужала ей виски своим дыханием, гладила по ручкам и ножкам. И где касалась кожи смерть, там сразу расцветало красное пятнышко.

Глубокой ночью колдун из телевизора сказал Ире, что знает, как ей помочь. Она случайно нажала что-то на пульте отупевшими пальцами, и возник он: волосы пышные, глаза чёрные, рукава широченные пол подметаают, на груди — круглая бляха размером с голову пса. Ира всё думала, пока звонила, как красиво у него чёлка лежит. Сама или укладывал?

Дозвонилась. Там, у колдуна, сразу поняли, кто звонит и зачем. Оказалось, аура у Иры зашлакована. Вот-вот засохнет совсем и станет отваливаться шматами, придавит под собой всех её близких — ай, нехорошо! Да-да, всех-всех, и даже сына... Нет сына? Дочь? А, значит, дочь. Придавит-придавит. У вас, говорит, точка невозврата завтра в полдень будет пройдена. Срочно что-то нужно делать. Оплачивайте первую процедуру. Милая моя, а иначе ой-ой-ой...

Пока Глеб на работе, Ира сбегала в банк да в магазин «Всё для праздника» — накупила красных свечей. Ночью разложила белые простыни, расставила свечи кругом, сама в центр легла, телефон к уху прижала и давай повторять за колдуном заклинание. «Силы небесные... господь двенадцатипалый... чернуху-грязнуху... спадёт с тела белого... Аминь».

Глеб спит, Ира катается по белой простыне, а смерть смотрит, задумчиво ковыряет ногтем красную свечку и терпеливо ждёт.

Успели отвести беду, слава кровожадной полуднице. Но отвести-то отвели, да сама она никуда не делась. Придётся ещё один ритуал проводить. И непременно

в полночь, и непременно под присмотром молодой луны, когда истончается какая-то там грань между какими-то мирами.

В ночь, ледяную, как правый нос бога до того, как он случайно поджёт Солнце, Ира выволокла коляску в снежный двор. Поставила её возле горки с отломанным языком, зажала в руке красную свечу и приложила к уху телефон. Раз звонит, два звонит, три. Не отвечает колдун, не помогает точку заморозить. А она всё ближе, Ира её чувствует. Девочка лежит тихо-тихо, уже и не видно, чтобы дышала.

Глеб проснулся от грохота: на кухне кто-то гремел площадками. Он подумал, у Иры опять телефонный шабаш. Встал, подошёл — а там смерть его крутится, размахивает руками. Пропала. Дочка пропала. В кровати — только взбитое одеяльце. Нет никого. Что делать, Глебушка? Что?

— Тьфу, бля. Да отстаньте вы от ребёнка, дуры!

Смерть метнулась на балкон — и схватилась за голову. Ринулась вон из дома. Глеб увидел сверху, как она выбегает на улицу, босая, растрёпанная, наспех одетая. И бросается к горке.

Тут и Глеб побежал. Вылетел из подъезда в снег и тишину, а во дворе — ни души. Одна коляска стоит, пустая. Ни жены, ни дочки, ни Глебовой смерти. Только холод собачий.

Иру с дочкой искала сначала тьма народу, потом поменьше людей, потом вообще никто. «Умом баба с горя тронулась», — говорила бабулька с четвёртого этажа. «Обе отмучились», — отвечала ей подружка с шестого. Позже видели похожую на Иру женщину в соседнем городе. Она брела вдоль сплошного забора, согнувшись пополам, будто на плечах у неё кто-то сидел, и часто смотрела вверх, и бормотала непонятное. Подойти — никто не подошёл: страшно. Глеб туда специально ездил, ходил вдоль того забора, но не нашёл ни Ириных следов, ни дочкиных.

Глебу звонили, сказали радостным голосом, что зовут его свидетелем по делу экстрасенсов, которым жена деньги переводила. Может, вернут какую копейку.

Глеб ничего сперва не понял, да и потом тоже. Он знал только, что нужно дуть на горячий чай, потому что кипятки глотать — глотку обожжёшь, а обожжённой глоткой не спеть молитву так, чтобы её услышали где надо. Глеб ходил в церковь каждый день. Брал по две красные свечи и ставил за жену и за дочку. А потом ложился на спину, головой к портрету двенадцатипалого бога в меховой шапке, руки на животе сцеплял и смотрел ввысь. Там, на куполе, недавно покрасили последний белый кусочек, и теперь сверху глядела его красавица-смерть с краснощёкой девочкой на руках.

Вот такая была у Глеба первая смерть.

## *Душа*

У меня страшно болела голова. Боль от затылка спускалась по ниточке в живот и танцевала там неповоротливо и глухо. Я стояла на остановке после ночной смены. Меня тянуло к мокрому асфальту. Главное — поменьше шевелить шеей, иначе боль расплывётся до дурноты. Ты приехал на машине, огромной, как половина троллейбуса, которого я так и не дождалась. Ты сказал мне, что идёт дождь. Никогда бы не подумала. Даже боль удивилась и спряталась за правое ухо. Я не сажусь в машины к незнакомцам, но от твоей волнами шло тепло. Я поняла, что останусь надолго.

Мы могли бы подождать. Нас никто не торопил. У тебя много работы: ты слушал деньги и старался понять, где им нужно быть в данный момент, куда их пристроить, чтобы они дали потомство. У меня — пациенты. В основном, женщины. Они ненавидят свои глаза за то, что те ловят непрошеное отражение — в боковом зеркале, в витрине, в тёмной глади телефона — и безжалостно передают его в мозг. Я им нужна, им нужны мои руки. На какое время придётся выпасть из жизни? Год? Два? Три? Это если с ребёнком всё будет в порядке и со мной тоже. Может, в другой раз? Нет. Ты сказал, что он (ты был уверен, что будет мальчик) уже здесь, и если мы его не впустим, то бог придёт и вопьётся в нас клыками. Ты впервые упомянул при мне бога. А ещё ты сказал, что налитые импланты и кукольные носы, приподнятые веки и острые скулы могут подождать. В конце концов, не жизни спасаешь. Нет, родной, я просто окрашиваю их хоть в какие-то цвета.

Всё-таки ещё рано. Ты уехал на два дня. Мне этого времени хватило. Я получила у знакомого врача выписку, которую не стыдно показать ни мужу, ни родителям. В ней сказано, что я ничего не сделала и ничего не могла сделать, а ребёнок у нас не появится: отторжение как оно есть. Кстати, его там назвали «плодное яйцо». Ты даже не взглянул на эти обидные слова. Может быть, догадался. Справки выписывают такие же люди, как мы с тобой. Ты не пойдёшь проверять.

Я стала видеть тебя дома всё реже. Ты так удивлялся, когда я об этом заговаривала. Чего мне не хватает? Денег? Так вот они, бери сколько надо. Ты однажды сказал, что душа твоя задыхается в копоти. Много, много всего к ней пристало и прилипло, и она волочит за собой всю эту гниль. Я знала, что у тебя другие женщины. Не моложе и не красивее меня, просто другие.

Всё кончилось, когда ты уехал на охоту. Тебя долго не было, но и волноваться я не сразу начала. Мне потом сказали, что таких случаев не помнят даже самые просветлённые охотники — те, которые не едят мясо убитых ими зверей, потому как знают, что во всякий момент времени пуля движется в обоих направлениях. В общем, в дуэли между человеком с ружьём и волком у второго мало шансов. Но твой зверь, кажется, был бешеный. Его до сих пор не поймали. Такой вот уникальный случай. А я думаю, в этом что-то есть. Ты наконец встретил своего кровожадного бога. И я почти уверена, что ты в тот момент был счастлив.

Всё имущество ты завещал монастырю. Какому — понятия не имею. Я не интересовалась подробностями.

\* \* \*

Ты впервые упомянул при мне бога. Это было так странно и почему-то трогательно. Не знала, что ты веришь в такие вещи.

Мальчик получился хороший, с умными глазами. Он почти не болел и крепко спал по ночам. Я вышла на работу меньше чем через год. Ты всякий раз улыбался, когда видел сына, и прижимал его к себе так, будто его у тебя уже отняли. Ты говорил, у тебя внутри поселилась плесень. Она обволакивает рёбра со стороны сердца шелковистым покровом — греет и душит одновременно. Тебе хочется разодрать себя до крови и её соскрести.

Я знала, что ты ходишь в церковь, — догадалась по запаху и по глазам. Ну а когда ты предложил крестить сына, всё окончательно прояснилось. Крестить, пока не поздно. Поздно для кого? Для него, для нас или для твоего бога? Я не против. Хорошо. Но, может, сперва обсудим? Поговорим с кем-то, кто знает? Ты уже поговорил с отцом Истомой. А, тогда понятно.



Я сдалась, когда сыну было шесть. Пастырь с длинным ногтем на мизинце капал ему воском на загривок, а ты плакал в первый раз с тех пор, как я тебя знаю. Отец Истома и меня порывался крестить, но только если я откажусь впредь брать в руки скальпель. Смешной он, этот твой духовник.

До сих пор не понимаю, как мы оказались в этой погибающей деревне. Нас отправили в бедный, но благочестивый приход, где мы должны принести много пользы. Здесь есть деревянная школа на десять учеников и одного больного учителя. Вместо магазина — газель, которая приезжает раз в неделю. Больницы нет вообще. Нас лечат речитативом и аскезой. Где мы пропустили поворот? В какой момент? Когда крестили сына? Когда ты бросил бизнес и поступил в семинарию, чтобы познать своего бога основательно и на все мои вопросы цитировать речи иссохших старцев? Когда я сама крестилась? Как будто у меня был выбор. Ты грозился увезти Марка в свой приход, и тебе никто бы не помешал, потому что вы с ним помазаны одной рукой, а я — иноверка, богохульница в окровавленных перчатках и та, кого всевышний не видит, а значит, меня просто нет для вас. Я не собиралась отдавать тебе сына. Мне было за него страшно. Я ведь давно догадалась, что самая вожеленная твоя мечта — принять схиму и остаться наедине с твоим богом при зажжённых свечах. Но кто же тебе позволит, пока ты женат, пока у тебя несовершеннолетний ребёнок? Мы стоим между тобой и твоей настоящей любовью. И я не буду облегчать тебе путь к счастью.

Марку уже двенадцать. Он начинает что-то понимать. Я рассказываю ему про города. Он думает, я их выдумала. Хотя что-то он сам помнит. Мне кажется, он несчастен, просто мы не дали ему слов, чтобы это выразить.

\* \* \*

Ты уже поговорил с отцом Истомой. А, тогда понятно. Считаешь, он исполнен благодати? Прямо светится изнутри? Какая прелесть. Жаль, что у вас с отцом Истомой нет общих детей. Вот будут — делайте что хотите. А моего сына, пожалуйста, не трогайте.

Ты вдруг начал отращивать бороду. Говорил, это для того, чтобы спрятать маленький и смешной подбородок, но я-то знала: ты сделал это, чтобы отвратить грех, ибо грех проникает через поцелуи в шею. А ещё деньги, которые мы откладывали на отпуск, пожертвовал на витражи в вашем храме. Вместо Диснейленда — угловатые святые с алыми губами и острыми крыльями за спиной. Марк тогда спросил, почему папа любит своего мёртвого бога больше, чем живых нас. Ты долго читал какие-то книги, а потом сказал нам за завтраком, что мы грех твоих прошлых жизней, а душа твоя покрылась слизью: едва не сгнила в шампанском, не задохнулась в томном запахе моих духов. Каких духов? Нос мой давно отвык от амбры и мускуса. У нас дома пахнет теперь воском, потом и дегтярным мылом. Я даже краситься стала только на работе. Ты ведь упрекнул меня, что мои тени стоят как две заупокойных мессы и потому на веках у меня лежит чернота неоконченных молитв. О, ты ещё не знаешь, сколько неотмоленных душ в румянах у меня на щеках. Меня уже не спасти. Я ведь буду гореть в аду — ты сам сказал — за то, что перекраиваю божественный замысел. Нет, родной. Я добавляю нужные штрихи там, где у него дрогнула рука, и прячу от его взора тех, кого твой господь уже поманил игрой на флейте, поманил песнью, под которую ты скорбишь, а я танцую.

\* \* \*

У меня страшно болела голова. Боль от затылка спускалась по ниточке в живот и танцевала там неповоротливо и глухо. Я стояла на остановке после ночной смены. Меня тянуло к мокрому асфальту. Главное — поменьше шевелить шеей, иначе боль расплывется до дурноты. Ты приехал на машине, огромной, как половина троллейбуса, который я ждала. Но я не сажусь в машины к незнакомцам. Я не сажусь в машины к незнакомцам.

### *Спокойной ночи, малыш*

Арсений юн и хорош собой, судя по аватарке. На ней ему всегда семнадцать. Что там в жизни, никто не знает, но в интернете он задумчив, романтичен и тонок, смотрит проникновенно, пишет с многоточиями, цитирует битников, читает Воннегута и прививает потихоньку вкус к хорошим вещам тринадцатилетней Маше, с которой познакомился в одном паблике. Разговорились, перешли в личку. Так бывает.

Маша ищет себя, шипперит по наивности любимых персонажей, но мало-помалу от этого отвыкает; борется с искушением изъясняться исключительно мультяшными стикерами (фу, подумает, что малолетка); делает уроки под песни BTS, но чаще интересуется плейлистом Арсения и мечтает, как они будут слушать музыку вместе, соединённые проводом наушников, почти касаясь друг друга. Маша, ставя зардевшийся смайлик, пишет о своих неловких мыслях Арсению, но тот реагирует спокойно, ведь сам он думает, если честно, о том же: о музыке, о прикосновениях, о запахе её волос, — ему почему-то кажется, что они пахнут ванилью.

«Спокойной ночи, малыш». Сердечко. Луна.

Арсений оказался не дурак: сеть свою плетёт с чудовищным терпением. Грубая прямота не его метод. Он будто ненароком обмолвился, что ему не семнадцать, а все двадцать шесть, и для Маши он, конечно, уже староват, но разве у души есть возраст? И как можно запретить кому-то любить только из-за даты в паспорте? Правда? А Маша всё читает, и поддакивает послушно, и делает ежедневно скриншоты, и каждый вечер звонит по одному и тому же номеру, а гнусавый голос ей отвечает:

— Да, Серёг. Ну чё там наш извращенец? Не созрел?

Серёга докладывает, что пока нет, но ещё немного — и дожмём. Да, клиент в курсе, что девочке тринадцать, да, намекал на что-то такое. Вот, например:

«Мне просто общения не хватает. Ещё эта депрессия...»

«Оу. Всё так серьёзно?»

«Да как сказать? Неприятная штука. Но в последнее время стало лучше. Как с тобой познакомился».

«Засмушал».

«Не, ну правда. Ты меня прям спасла... Мне ни с кем так хорошо не общалось, как с тобой...»

«На работе, наверное, есть с кем поговорить. Друзья, коллеги. Менеджеры там всякие».

«Ахах».

«Что, нет?»

«Ну да, народу хватает. Но я про другое сейчас...»

---

*Андрей Ломовцев*

## Счастье и печаль тётушки Оли

*Рассказ*

Передо мной три сверкающих солнца, по сюжету — где-то в созвездии Ориона. Я сижу на куче песка, на ободранном коврикe, ладони на груди, ноги крест-накрест. Мучаюсь в позе лотоса, колени вот-вот развалятся.

— Ом... махадевайя, намах.

Склоняю голову к центральному солнцу, самому большому из трёх, что плывёт на экране в синеве бездонного неба. От прожектора сверху жарит, как от печи, сбоку жужжит камера оператора. Проговариваю вторую строку:

— Ом, Бен Дза Са То Са Ма, я ма...

Это нагромождение слов в сценарии для меня самое сложное, всегда боюсь позабыть, не страшно, в принципе, озвучка закроет нюансы, но ситуация требует достоверности. Помню, учил эту фразу почти два часа. Про назначение не в курсе, вроде молитва.

Делаю вдох. Во рту пустыня, от обилия света слезятся глаза, чувствую сигаретную вонь из курилки. Медитация, на мой взгляд, затянулась.

Обернуться и спросить не могу — запорю съёмку. Слышу металлический скрип операторской тележки и нервный шёпот осветителей.

— Ещё дубль, — орёт в мегафон бритый под ноль Потапов. — Монах, не спи, мать твою! Поворот головы чётче, почтительнее. И почему у тебя руки отваливаются от груди? Руденко, добавь верхний свет, у монаха тень ползёт на нос. Все по местам! Тишина в студии. Поехали.

Глубже, чётче, ему можно орать — он режиссёр. Ладно, ещё дубль, перетерплю, пять минут в позе скрюченных ног, и съёмочный день отработан — получите аванс, распишитесь. Пока не слышно хлопушки, незаметно утираю лоб.

— Мотор.

— Три солнца. Сцена двадцать три. Дубль два.

Это Мариночка, ассистентка Потапова. Услышали голос? Будто жаворонок пропел солнечным утром. Ох, мать моя женщина. Маринчик — чудо. Длинноногая,

---

*Ломовцев Андрей Иванович* родился в 1968 году в Подмосковье, печатался в журналах «Волга», «Урал» и других. Лауреат премии ДИАС—2022. Живёт в Мытищах Московской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 2.

с чёрной косой, вздёрнутым носиком и каменно-серьёзным лицом. Редко когда улыбается, ну только если я какую пошлятину брякну. Всё мечтаю склеить её, но, кажется, она влюблена в режиссёра.

И всё-таки душно, прожекторы мощные, да и на улице не мороз. По роли я тибетский монах, века шестнадцатого, если не путаю, путешествую по мирам при помощи мантр, но застрял на Планете Трёх Солнц, и тут меня должны грохнуть. Умереть хочется побыстрей. В переносном, конечно, смысле.

На мне чумовая оранжевая рубаша до пят, пропахшая нафталином и пылью того самого века, шестнадцатого. И откуда её только достали? Сидеть в ней удобно, но жарко. Со лба мерзкая капля пота ползёт вдоль щёки, огибает губу и заползает под халат, останавливая движение на животе. Я представляю, как в гримёрке Мариночка нежно слизывает эту капельку языком. Её грудь с тёмно-коричневыми сосками прижимается к моему бедру. Моя рука на её аккуратной попке. Её рот...

О... Стоп, стоп, стоп. В паху возникло движение, стало вдруг неудобно сидеть, а ведь я на работе. Фу-фу-фу. Срочно вспоминаю противоядие: «Загородное шоссе, мёртвая собака на сером асфальте, оскал пасти, вывернутое бедро в крови и машина с разбитым бампером. Водитель, копия Потапова, в недоумении трёт рыжую бороду.

— Смотри, куда прёшь, чудила, — говорю я назидательно торопыге. — Быть тебе собакой в следующей жизни.

Водитель тараторит извинения, я снимаю его на телефон и с радостью жду ментов.

Собачку, конечно, жаль. Я бы подложил в эту сцену кота, но не работает, проверял.

Так. Успокоился, переключился, мысли и сознание на Планете Трёх Солнц. Я снова в работе.

— Ом... махадевайя намах.

Склоняю голову к левому солнцу, едва успев закрыть глаза от вспышки прожектора.

— Снято, — устало машет рукой Потапов, и оператор снимает наушники. — На сегодня закончили, увидимся в понедельник.

Я распутываю конечности с кошмарными ощущениями. Смогу ли ходить, вот в чём вопрос. Потапов лыбится:

— Ну, Судаков, надо для тебя сцену в шпагате придумать, ты прям истинный дервиш.

Умно, ничего не скажешь. Я молчу про то, что дервиши — мусульмане, члены суфийского братства, и никогда не использовали практик буддийских монахов. Смейся-смейся, гениальный Потапов, осветители мне уже подмигнули, что ждут после смены: пятница, вечер, и мы его не пропустим. Хотя, с другой стороны, я благодарен Потапову: и роль дал, и по имени не зовёт, а фамилия у меня более-менее звучная.

\* \* \*

Усатый служащий за узким канцлерским столом поправил нелепый лиловый галстук и выжидательно посмотрел на просителя.

— Можно ваш паспорт, пожалуйста? Имеете вид на жительство? И ещё, документы на собственность. Она у вас кооперативная?

Горислав кивнул, ощущая, как намокли от волнения подмышки. Очень хотелось, чтобы банкир повторил последнюю фразу. Вроде про документы спросил, с чешского сложно переводить, хотя в бытовых вопросах проблем у Горислава не возникало, но тут юридические закорючки.

— Can you repeat last phrase, sorry<sup>1</sup>.

Но банкир не пожелал переходить на английский и выделил каждое слово в цветастом, как новогодняя гирлянда, наборе фраз:

— Документы на собственность, понимаете? На дом, квартиру, — что оставляете в залог банку? Машины не оформляем, это к русским, в бюро «Три монеты» на соседней улице. Или, возможно, у вас есть поручитель?

— А, нет, не машина. Я понял, — улыбнулся Горислав, дрожащей рукой вытаскивая из пластиковой папки красную книжицу с двуглавым орлом и свидетельство о браке, выданное чешским загсом.

Пока усатый всматривался в поданные бумаги, Горислав отёр ладонью пот у виска, не понравилось упоминание о «Трёх монетах». Хозяева, недружелюбные дагестанцы, известные в городских кругах как мастера дел криминальных, терпеливо ожидали его в прокуренной душной конторе. И ему следовало поторопиться.

Горислав вспомнил счастливое лицо тётушки Оли, и её реакцию, если узнает. Нет, об этом лучше не думать.

В ту ночь ему приснился дурацкий сон: он стоял на берегу горной реки, с каменистого берега, сквозь грохот воды, ему кричали двое детей, ни лиц, ни слов разобрать он не смог. Дети махнули на прощанье и пропали среди кустов. Горислав проснулся в лёгкой испарине и долго не мог заснуть.

\* \* \*

Сотни раз я слышал от матери: «Ты нестабилен морально и неустроен душевно». Слышал в детстве, юности, слышу и сейчас раз в неделю. Думаете, моя любовь к ней от этого пострадала? Да никогда. Ничего иного не может сказать доктор психологических наук великовозрастному сынку ранним утром субботнего дня, когда тот вползает в кухню, отравляя помещение перегаром. Я бы, к примеру, назвал его отщепенцем и алкоголиком. Точно вам говорю. Да будь он хоть трижды гениальный актёр. И лишил бы денежного довольствия, если бы сынок сидел на моей шее, как я.

После института я два года обивал пороги московских театров: улыбался, заискивал, лебезил и кланялся на просмотрах. Читал с выражением стихи и кривлялся в надежде получить предложение. В ответ слышал однотипное и безжизненное:

— Простите, ваш типаж — не подходит нашему театру.

Куда уж мне, с моей челюстью да в калашный-то ряд. Кстати, челюсть у меня красивая, квадратная, массивная, с ямочкой на подбородке, как у героев голливудских боевиков.

Не спасает.

Но, бывает, отвечают более обидно и гадко:

— Вы отлично справились! Мы с вами обязательно свяжемся.

Это худший исход, такие не позвонят никогда. И то, что я иногда монах, иногда попрошайка в довоенной Москве, а чаще всплываю в массовках мало опознаваемым лицом, по чесноку — большое везенье. И это не сделало меня миллионером.

---

<sup>1</sup> Извините, не могли бы вы повторить последнюю фразу (англ.).

Даже просто богатым — никак. И не обеспечивает нормально. К концу недели наваливается тоска, шепчет: «Гори, Слав, всё огнём, пора выпить лекарства, очистить голову от раздумий, от мечтаний о больших ролях, популярности, женщинах, ну и прочему, причитающемуся актёрской богеме».

Осветители и другие рабочие сцены, наливая на сабантуях по соточке вискаря, не перестают утверждать расхожую фразу: «Наша жизнь — это театр, а мы стоим в очереди за контрамаркой».

А я не согласен! Категорически, чёрт побери. Жить без надежды сыграть короля или занять царскую ложу — скучно и не прикольно. И порой у нас возникают интересные споры, но финал всегда одинаков: наступает больное утро субботы.

И вот, мать скрипит и заливает умные речи об утере нейронных связей в моей пустой голове. Но протягивает для облегчения стакан холодной воды. Мамуля!

Хочется в ответ почитать ей из «Онегина», но она отворачивается к плите и вытирает глаза. Отойдёт. Я единственный у неё, этим пользуюсь, нагло и безответственно, да простит меня искусственный интеллект. Это выраженьице, кстати, зацепил у знакомого айтишника на одной вечеринке. У него оно вместо молитвы, и я неверующий, а интеллект в виде говорящей Алисы общается со мною каждый день. Потому прижилось.

\* \* \*

— Принёс, нет?

Бородатый Закир курил, положив ноги в остроносых ботинках на круглый стеклянный стол. Клубы дыма с ароматом аниса заполнили комнатушку. Сквозь окно донёсся скрип тормозов трамвая, и Горислав слышал, как грохочущий монстр свернул на улицу Mostecka (Мостовая), чтобы через минуту остановиться на Малостранской площади, напротив фотогеничного здания Беседа Галерия.

Выбритые до синевы низкорослые Рамис и Темир в одинаковых свитерах и галстуках, похожие на студентов колледжа, скрестив руки, смиренно стояли позади Закира. Крутили недовольными лицами, отгораживаясь от дыма, отчего Гориславу, замершему навытяжку, как перед серьёзным экзаменом, стало не по себе.

— Сказали завтра, им надо проверить бумаги.

— Чё завтра, брат. Какой завтра? Ты, блин, завтра мёртвый будешь, мамой клянусь, да!

Закир сдёрнул ноги и резко выбросил вперёд руку, словно намеревался схватить Горислава за горло. Но не встал, а лишь вяло откинулся на подушки. Черноволосые за его спиной засмеялись, обнажив крепкие белые зубы, и теперь Гориславу эти мальчишки казались похожими на добрых гномиков, которые, отложив кирки и лопаты, переоделись в парадное, намереваясь посетить воскресную школу. Вот только колпачки забыли дома.

«С такой же добродушной ухмылкой, — подумал Горислав, чувствуя, как слабеют в коленях ноги, — они выбьют мне зубы, все до единого, и вырвут язык».

Язык стало особенно жалко, — как тогда вымалывать прощения у тётушки Оли?

При воспоминании о супруге Горислав скривился: не дай бог узнаёт про инцидент. Надо как-то решать, а вариантов нет, только идти ва-банк, играть роль невозмутимого сумасшедшего. Как там у Дементьева: «Кто-то однажды выкрикнул в мою сторону, что я сумасшедший. Я не стал оспаривать его. И вы ведь знаете, он был прав. Да, да, да! Всецело прав. Не пытайтесь меня разубедить! Теперь я вижу, что я сошёл с ума...

---

*Елизавета Вольтинская*

## Маша, тени и метро

*Рассказ*

Линейное время начинается со звонка будильника. Маша вздрагивает, смотрит на цифры, повествующие о том, что лучше встать сразу, и погружается в сладкое бессознательное ещё на пять минуточек. Честно встаёт через полчаса. Выключает ночник и включает свет во всех комнатах сразу, чтобы не было ни одного тёмного уголка. Ставит вариться яйца.

По стенам кухни ещё гуляют тени снов. Они рассказывают Маше сказки об обществе потребления, о дешёвых москитных сетках на лето, о том, нужно ли класть смородиновый лист в банку, когда солишь огурцы, поможет ли пятак, если положить его под левую пятку и с этой же ноги зайти на экзамен. И, конечно же, о том, что все яйцеварки невообразимо смешные.

Маша теней не слушает или делает вид, что не слушает. Она сосредоточена на яйцеварке, пытается понять, почему она такая смешная. В поисках наименее смешного варианта заходит на авито, потом на алиэкспресс и находит ту, одну-единственную... Немка в стильном корпусе из нержавеющей стали с прозрачным куполом только на одно яйцо. Стоит почти пять с половиной кусков.

«Пожалуй, покупать яйцеварку за пять ка, чтобы варить в ней яйца за сорок рэ, это ещё более смешно», — шепчут Маше тени.

Маша кивает и оформляет заказ. Тени делают фейспалм. Пытаются прокричать ей проклятия из зеркала в коридоре, выстукивают что-то азбукой Морзе из шкафа и из-под кровати. Маша старается не обращать внимания, только повторяет про себя: «Здесь никого нет, Маша, тебе кажется, кажется».

И тени, кажется, унимаются.

Разделавшись с яйцами, Маша чистит зубы пастой, которую рекомендуют девять и девять из десяти стоматологов, старательно проходит по лимфе скребком гуаша, прикладывает к утренним синякам патчи и читает молитву, чтобы они сработали. Фоном включает эпл мюзик, наносит на волосы трёхступенчатый уход и идёт в душ.

---

*Вольтинская Елизавета Андреевна* родилась в 2001 году в Туле. Окончила ТГПУ им. Л.Н.Толстого (факультет русской филологии и документоведения, кафедра русского языка и литературы). Печаталась в журнале «Новый мир». Участвовала в Форуме молодых писателей России (Липки) и литературных семинарах АСПИР. Живёт в Туле.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 11.

Она знает, тени подглядывают за ней и в ванной, поэтому никогда не поворачивается спиной к шторке.

Мало кто знает, но Маша — та самая девушка из рекламы геля для душа «Даф». Это по её загорелым бёдрам струятся шёлковые капельки, это на её груди лоснится перламутровая пена и по-русалочьи блестит кожа в свете софитов. Маша извивается, растирает пену по телу, имитирует наслаждение и даже немного постанывает. Режиссёр так доволен её работой, что незаметно приспускает штаны и начинает массировать *там*. Но Маша не обращает внимания, она ведь профессионал, а не случайная девочка с улицы. Знает, как всё работает *здесь*.

Тени хихикают над Машинными мыслями, пока она сдёргивает с батареи кружевные стринги, стиранные вчера русским мылом «Хозяюшка». (Стиральной машинки на съёмной квартире нет, а так Маша снялась бы и в её рекламе.) Наносит мейкап по туториалам, одевается, заваривает в кружке с мишутками «три в одном» и переливает кофейную жижу в стаканчик старбакс, который предусмотрительно не выкинула после короткого свидания с краснолицым девственником из тиндера.

Теперь готова.

Маша опаздывает в колледж почти на час, но всё равно фоткается в зеркале. Выбегает из квартиры. Тени гонятся за ней по тёмному подъезду, пытаются схватить за ноги и почти настигают жертву у самой двери. Но Маша одним прыжком успевает от них ускользнуть.

«Опять не догнали, — гудят тени вслед, — ну ничего, ты только попробуй спустить ночью ногу с кровати...»

\* \* \*

Через десять минут в метро воняет кошками и кислой старостью. Источник запаха — крохотная лоскутная бабулечка с бесцветными глазами и бумажной кожей. Она держится за поручень из последних сил сразу двумя ручками. И кажется, стоит только потому, что кто-то невидимый натягивает ниточки, привязанные к её рукам и ногам, не то от глупости, не то от скуки.

Тени обвивают Машу со всех сторон, так что это можно спутать с приступом удушья.

«Уступи, Машенька, нехорошо. Мама ведь тебя хорошему учила».

«Я хорошая, — мысленно отвечает Маша, — но к каждому хорошо относиться, ноги отвалятся».

«А ты думала, легко добрые дела делаются?»

«Срала я с высокой колокольни на добрые дела», — отвечает Машенька и вдумчиво смотрит на своё отражение. Из тёмного окна напротив на неё глядит красивая молодая студентка, скорее всего, какого-то престижного вуза, МГУ там или даже МГИМО. Она работает на фрилансе дизайнером, зарабатывает восемьдесят ка в месяц. Это так, чтобы опыта набраться. Дальше — больше. Своё дизайнерское агентство. Короче, с целями девочка. Едет на учёбу немного сонная после воскресной тусовки. На завтрак только яйца всмятку и любимый латте на безлактозном.

Машенька заправляет локон за ушко, открывая тонкую золотую серёжку. Мама подарила на окончание одиннадцатого класса. Красивые, как будто даже неподдельные. Вон как блестят.

Маша, довольная собой, пьёт кофе и думает, как же хорошо она всех обманула.

Вот так старбакс и золотые серёжки делают из обезьяны человека. А точнее: из пэтэушницы Машки — студентку МГИМО Марию.



Вагон качнуло, будто бы подкинуло на кочке. Бабулечка повисла на поручне, как вывернутая перчатка.

«Уступиии... Как же карма? — оживлённо вспоминают тени, кажется, найдя крючок, за который можно поймать рыбку-Машу. — Карма, думаешь, чище станет, если жечь Пало санто как сумасшедшая и медитировать по пять минут в день?»

«Блин...»

Глаза Марии в тот же миг наполняются осознанностью. Она небрежно поправляет платок двумя пальцами, как индийские красавицы поправляют узорчатые сари.

— Бабушка, садитесь.

— Нет-нет-нет, мне уже выходить, — сопротивляется бабушка.

«Давай, бабка, не ломайся! Вытыриваться она тут ещё будет. У самой карма не чище сидушки в общественном туалете, она ещё другим мешает просветляться!» — думает Маша, ласково поглаживая бабулечку за локоть и усаживая на своё место почти насильно.

— Ох, ну я ж теперь не встану. Колени... Ладно уж, спасибо, — рассеянно отвечает бабулечка.

— Во благо, — улыбается Мария.

— В платочке, красавица, мусульманка, да? — улыбается бабулечка, нащупывая полуслепыми глазами незнакомое Машино лицо.

— Чего?

— Ну, мусульманка? За Аллаха, да?

— Русская я, — раздражается Маша и думает: «А чистят ли вообще русские карму, или так свечами отделяются и куличами на Пасху?»

— Оно понятно. У меня дочка тоже русская, а вышла замуж за этого Саидку и тоже вон вся ходит в этих платках, как шахидка, — продолжает рассказывать бабка то ли со злостью, то ли с гордостью.

Маша её уже не слушает. Зато внимательно слушают тени.

Они мчатся по обе стороны вагона, создавая ветер и страшный гул. Человек, привыкший к шуму города, не обратит внимания на этот звук. Но приезжий, особенно из Сибири или с Дальнего Востока, сразу нутром чует подвох.

Маша к метро уже привыкла, поэтому подвоха не замечает. Она смотрит на своё отражение и про себя отмечает, что весь этот восточный мистицизм очень ей к лицу. Из чёрной мути стекла на неё глядит не по годам мудрая девушка со смуглым лицом и тёмными глазами. Она только что вернулась из длительного паломничества в Индию и заново привыкает к московскому темпу жизни. Её взгляд полон спокойствия, сочувствия и понимания. Она знает свою судьбу и судьбу всего вокруг. Она в своём сознании настолько «преисполнена», что деньги не имеют для неё никакой ценности. Суета для неё лишь бренность, а деньги — не ценность.

Ещё две станции — и ноги просветлённой Марии начинает ломить, а кукольная бабка выходить не собирается. Тени потешаются у Маши над ухом: «Довыпендривалась, просветлённая».

Ещё одна станция. Бабка задремала. Маше от злости хочется стукнуть её чем-нибудь тяжёлым, хотя бы яйцеваркой. На вид она очень тяжёлая. Всё дорогое обычно довольно увесистое. И его приятно держать в руках. Маша открывает телефон и проверяет статус заказа, хотя знает, что с алиэкспресса заказ придёт только когда рак на горе свистнет. В мессенджере набирает сообщение подруге. Дежурные «как дела», «да ладно тебе», «понятно» заканчиваются вполне уже закономерным: «Дорогая,

займи денег. Опять всё спустила хрен пойми на что». В ответ игнор. Подруга была в сети пять минут назад.

«Вот коза», — думает Маша.

«И правда», — повторяют тени, заглядывая в её телефон через плечо.

На следующей заходит парень с проколотым ухом и похотливым взглядом. Маша демонстративно равнодушно пьёт кофе. Какое дело ей, просветлённой, до этого мальчишки, скорее всего, разработчика! Из сумки игриво торчит краешек макбука. Джинсы «Зара», дорогие кроссы, а на шее нежный, почти женский шарф. А может, он дизайнер? Сейчас их взгляды встретятся, и он пригласит её прогуляться вдвоём. Они поедут на ВДНХ, будут крутиться на чёртовом колесе, красиво держаться за руки, есть сливочный пломбир и потом снова держаться за руки. Совсем как в советских фильмах, которые смотрела Машина бабушка, и эта бабка тоже наверняка смотрела. Поцелуй в конце вечера, если проводит до дома. Секс только на втором свидании. Маша ведь приличная девушка.

Парень смотрит на Машу пристально, оценочно. Видимо, прикидывает, как начать разговор, но так и не начинает.

«Тормоз!» — злобно думает Маша и подвигается к выходу. Следом за ней ловко вскакивает бабка.

«Ага, выходить ей скоро, овца старая», — думает Маша.

Двери открываются. Вагон, как кит, со стоном извергает пассажиров вместе с непереваренными кусочками криля и прочими отходами жизнедеятельности.

У Маши кружится голова. Она чувствует, что немного перебрала вчера на тусовке. А потом вспоминает, что вообще-то не пила, да и тусовки никакой не было. Она всё придумала. Тени гудят в голове звуками приближающегося состава. Маша не замечает, как оказывается за жёлтой линией.

«Я что-то делаю не так?» — обращается она к себе, но так, чтобы слышали тени.

«Всё так», — отвечают тени и толкают Машу на рельсы.

\* \* \*

Вокруг чёрное, красное и резко пахнущее. Маша никому не признается, что очень любит запах метро. Так вот что так пахнет — рельсы. А я думала — люди, или стены, или всё вместе. Метро — какая-то особенная экосистема. Новое, пятое, царство: растения, животные, грибы, бактерии и метро.

«Девушка, девушка, вы живая?» — Кто-то в серой униформе орёт с платформы, которая оказывается достаточно низкой, такой, что можно без труда вылезти.

— Да нормально всё, — бормочет Маша и пытается встать. Тени ей не препятствуют и даже как будто услужливо помогают.

«Что ж ты, Маша, так неаккуратно! Ладно уж, вон жёлтенький же рельс, «контактный» называется. Значит, на контакт идёт. За него берись и вылезай.

— Девушка, не ходите сюда! На рельсы ложитесь, в ложбину! Не трогай! Убьёт! Ой...

.  
. .  
. .  
. .  
. .

Линейное время заканчивается короткой бесцветной вспышкой, пронизывающей болью и внезапной лёгкостью. Как будто одеяло вырвали из пододеяльника. Вокруг Маши кишит и хохочет темнота. Кружится чёрными всплесками криков на непонятном языке, который Маша вдруг начинает не то что понимать, но ощущать всем телом. Как будто вся она стала органом-приёмником. Одновременно обонятельным, осязательным и зрительным. Сквозь этот гомон, как через бутылочное горлышко, льётся человеческая речь.

— Убииииииии! — кричит кукольная бабка.

«Жаль, не тебя», — злобно думает Маша.

«Да эта бабка мамонтов пережила, ей ещё жить да жить. Душа молодая, чистенькая, не то что у некоторых», — не то визжат, не то танцуют тени над Машей.

«Вы, твари, зачем это сделали?! — танцует им в ответ Маша. — Это мне ещё жить и жить. Посмотрите, какая линия жизни длинная. Мне цыганка нагадала, что у меня три мужа будет. Наврала?»

Тени обвили Машу, и внезапно она поняла, что у неё нет руки, и тела нет, и вообще её нет. Она умерла. Тело её погрузили на каталку, накрыли белой простыней, увезли с платформы. Маша напрягла слух. Больше по привычке, чем это было необходимо.

— Ну вот, из-за суицидницы малолетней всю станцию перекрыли, — сказал кому-то мальчик в женском шарфе.

— Убилиииииии... — всё ещё орала бабка.

В общем-то совершенно никого скоропостижная смерть молодой и красивой не то студентки МГИМО, не то просветлённой паломницы не тронула. Красавчик убежал ловить автобус, бабка скоро успокоилась и покостыляла домой, тихо радуясь тому, что в её жизни произошло хоть что-то из ряда вон выходящее. Маша взглянула на себя под медицинской простыней.

Она была самым обычным трупом, даже хуже, чем рисуют трупы в фильмах НТВ. Маленьким и жалким. Внезапно Маша увидела, что она не студентка МГИМО, не модель из рекламы «Даф», не мудрая просветлённая дева и не осознанная дама, которая окружает себя прекрасным и может купить яйцеварку за пять ка.

Теперь она просто мёртвая Маша, про которую напишут в РИА-новости: «Студентка мед. колледжа покончила с собой на станции “Парк Культуры”».

Маша хотела заплакать, но у неё не получалось. Она поняла, что по-настоящему плакать не хотела и собиралась сделать это исключительно потому, что не знала, как вести себя в такой ситуации. Для тела ведь поплакать — это как покурить, просто стресс сбросить. Чисто людская забава, просветлённые существа так давно не делают. Всё это Маша осознала в единую секунду. Так, будто кто-то подумал за неё и просто вложил готовые мысли в голову.

«И куда мне теперь? В ад?»

Тени внутри Маши расхохотались. Маша обиделась.

«Вы нормально можете сказать? Я же буквально только что умерла!» — подумала Маша и сразу же поняла, что совсем не умерла, а умирает прямо сейчас. А может, даже умерла вчера, а может, это всё происходит одновременно. Так Маша узнала, что времени не бывает.

Тогда она взлетела и вытянулась в тоненькую струйку, тоньше и легче конского волоса, и скрылась из виду. Теней вокруг неё больше нет, и никогда не было. И вообще, она сама всё это время была тенью. Сама сидела под кроватью, скреблась в шкафу, подглядывала за собой в душе и гналась по тёмному подъезду.

Через полгода в съёмную квартиру Маши заселились жильцы. По ночам они плохо и тревожно спали. Им казалось, что под кроватью кто-то скребётся, а в душе кто-то за ними подсматривает. А когда они включали модную немецкую яйцеварку, единственную новую вещь в квартире, им казалось, что кто-то хохочет прямо у них в ушах. И ещё в эти дни всегда всё шло наперекосяк, как будто на яйцеварке лежит проклятие.

Ещё через полгода в квартиру приехала битва экстрасенсов. Чернокнижники раскидывали на кухне таро, стучали в расписные бубны и рисовали рунические символы углем прямо на полу кухни. Призывали дух Маши.

Маша не пришла. Зачем? За новыми жильцами в ванной она не подглядывала, это неприлично. Не появлялась в зеркалах. Не гремела посудой по ночам. Только залетала иногда на кухню и смотрела на свою красивую дорогую яйцеварку, которой так и не успела воспользоваться, а потом улетала обратно в метро. Там, на станции «Парк культуры», она работала воем вагона. Приходите послушать её песни и ничего не бойтесь, она не столкнёт вас на рельсы, даже если вы сами об этом попросите.

---

*Марат Шакиров*

## Семёнов

*Рассказ*

Перед отъездом Семёнов успел закупить старый проигрыватель грампластинок. Нашёл подходящий на сайте объявлений. Старичок-владелец жил по пути, попросил совсем немного и обязательно наличными, пожевал высохшие губы и, прощаясь с любимым хламом, ядовито попросил «не портить его всяким диско». Потом медленно побрёл в другую комнату и вернулся с двумя пластинками, аккуратно завернутыми в вошёную бумагу. От денег за них отказался и только отечески похлопал Семёнова по плечу, провожая в коридор.

По пути было две заправки: хорошая и плохая. На хорошей топливо было лучше — Семёнов знал это наверняка по тому, как урчала и тянула в горку его «ласточка». На плохой были съедобнее хот-доги — Семёнов знал это наверняка по тому, как урчал и тянул его живот после несъедобных. Выбор был непростым, но решение нашлось. Семёнов заправился хорошим топливом, а потом съел съедобных хот-догов на плохой заправке. Спешить пока некуда.

Ребёнком Семёнов регулярно брал в руки толстый чёрный резиновый неудобный мокрый запачканный грязью длинный старый треснувший садовый шланг и поливал все эти дряхлые и молодые, и сгнившие, и цветущие, и дающие совершенно разные плоды — и маленькие жёлтые и густые красные, и твёрдые зелёные — яблони. Семёнов радовался, что наполняет эти живородящие создания тёплой влагой из ближайшего вонючего ручья. Они росли на его глазах, кормили его и удобряли землю мёртвыми червяками, переевшими сочной мякоти.

Шли годы, и яблони увядали, падали, гнили. Может, старость губила и отказывали их сухонькие сердца. Может, мало им было заботы, может, больше внимания хотелось зимой. Может, яблони не нужны этому миру стриминга, асфальта и сушёного манго, поэтому уходят на покой. Они не будут больше страдать синдромом самозванца. Доколе же будешь ты, Семёнов?

---

*Марат Шакиров (Файзуллин Марат Габдрахманович)* — прозаик. Родился в 1988 году в Казани, в 2009-м уехал в Москву учиться на политолога — зря. Пишет с 2015 года, в основном реализм — грязный и гипер. Автор романа «Кокон» (2023). Участник семинаров молодых писателей Союза писателей России в 2019 и 2021 гг. Печатался в «Новом берегу», «Формаслове», «Литгатуре». Победитель литературного конкурса к 80-летию Сергея Довлатова. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Подхватив пару плодов с земли, Семёнов протёр их полой рубашки и убрал в карманы штанов. Подумал немного, достал одно яблоко и надкусил. Кислое. Пора приступать к малине.

С малиной всё немного сложнее. Её обработка требует внимания и терпения. Надеваешь резиновые перчатки, рубаху с длинными рукавами, берёшь садовые ножницы, зарываешься под куст сквозь колючки и пыль, выбираешь те ростки, что совсем иссохли и больше не понесут. Срезаешь под корень. Собираешь этот хворост в охапку, сносишь в ржавую бочку, а потом поздней осенью пожжёшь. Находишь сухие, срезаешь, жжёшь.

В детстве, когда мать заставляла Семёнова подрезать малину, Семёнов думал, что делает ей больно. Срезал сухие кустики с осторожностью, потом волновался, что так делает ещё больнее. Резал резче и пугался своей грубости. И пугался этой неопределённости, этой мучительной раздвоенности. Хорошо, что не знал тогда женщин. Зато знал их потом. Да как! Хворост хрустел, малина адела и яблони наполнялись ароматом цветов...

Что несёшь ты, Семёнов! Какие цветы, какая малина? И баб-то всего три-четыре... И ни одной такой, чтобы... Семёнов! Воспоминания потом, сначала трудиться. Делай как шаман велел.

И будет Семёнов делать: и подрезает малину дальше, и готовится починять теплицу под помидоры. Но не может он остановиться — разогнался Семёнов, расчувствовался. И пред глазами мелькают овцы, и славные их лица, и груди их налитые, и волки рядом сытые... Сука! Семёнов вскрикнул от отчаяния! Нет у него контроля, провалился, тонет в потоках памяти. Не жизнь, а сортирный порошок: хмурый, вкусно пахнет и полностью растворяется в говне.

\* \* \*

Перед обедом Семёнов достал пластинки, аккуратно завёрнутые в вошёную бумагу, — те самые — подарок старика. Развернул одну: на обложке какой-то негр в шляпе и пурпурной вуали. Семёнов заправил пластинку в проигрыватель. В колонках загудело, завывало, залаяло. Семёнов не знал такой музыки и, может, полюбил бы её, если б чувствовал своё сердце. А так... гудит, скрипит, лает. Как старая собака, покусавшая ржавые гитарные струны.

На второй пластинке патлатый гитарист и его «грейтест хитс». Звучит приятнее. Пел бы ещё по-русски. И пел бы о важном. Поёт ведь о важном. Поёт про «сердце из золота». Вот это было бы славно. Вот такое бы никогда не сломалось. Ай.

Снова ломает Семёнова. Задумывается Семёнов и не может больше, понимает, что подвергает риску всю операцию, и не может больше. Боится, что не доживёт до завтра. А значит, надо спешить и надо идти. Надо начинать жалеть. Работать больше нету сил, а вспоминать — желания.

Прошёлся по дому, по саду, собрал завалящий хлам: обёртки от конфеток «Бурёнка», сорванные с пачек сигарет акцизные марки, желтоватые окурки, уголки молочных пакетов, обрывки ниток и резинки от трусов, плёнки аудиокассет, молочные зубы, чайные пакетики, продырявленные жестяные банки, спичечные коробки с красивыми картинками райских островов и старые башмаки, много пар старых башмаков.

Собрав всё в пластиковый пакет, Семёнов направился к железным воротам, за которыми его ждал девственный сосновый лес.

У ворот находится помойка. Четыре ржавых бака, которые вывозят раз в неделю по понедельникам. Сегодня баки забиты до отказа. Мусор валится наружу, городские просто швыряют пакеты из окон машин, пакеты рвутся, бутылки, кожурки, куриные кости, обёртки, гондоны, прокладки, семечки и детские воротнички окропляют землю на метры и метры вокруг.

Семёнов достал брелок, чтобы открыть ворота, сделал пару шагов в сторону баков, бросил пакет в самый дальний — а вместе с ним и брелок. Расстроился. Подошёл ближе. Отшатнулся от запаха и лая тощего Мухтара, вылезшего из будки навстречу движению. Коротко оценив масштабы фигуры Семёнова, Мухтар зевнул и направился обратно к будке.

Искать брелок в этом говне равно закрыть едва ожившие чакры — так рассудил Семёнов и полез прочь от этого места через забор.

А за забором была автомобильная дорога, а за дорогой лес. Семёнов подумал минутку, осмотрелся и зашагал по узкой протоптанной тропке.

Темнело. Семёнов мерно брёл, притаптывая шишечки под ногами, подпевая пурпурному негру, молясь лесному духу. Дух не отвечал. Семёнов думал: с чего бы начать, кого бы здесь пожалеть?

Лес был страшен, лес был глух, лес был нем. Жалеть лес не хотелось.

Хотелось бы пожалеть эту тропку, заросшую папоротниками, — не мила больше любопытным путникам. Пожалеть эти покосившиеся домики — они были летними, шумными, были полны молодыми с шампанским, старыми с арбузами, любящими и ищущими, и такими приятными, и маленький Семёнов знал, что, когда вырастет, обязательно заедет в такой домик, чтобы сидеть на его веранде, чистить семечки, смотреть на своих тритонов, пойманных в банку, гладить тупого хомяка и тихонько посвистывать при виде проходящих мимо дам в купальниках. Но развалились домики и не нужны больше купальным дамам.

Хотелось бы пожалеть певучих соловьёв или дурных кукушек. Но не хотелось, если честно. Семёнову хотелось пожалеть себя.

Так он мерно брёл, притаптывая шишечки под ногами, подпевая пурпурному негру, молясь лесному духу. И трогал себя в районе груди. И жалел себя нещадно — сильнее и сильнее. И вспоминал уже не ласковые тёплые детские деньки, но прыщи, отказы, ошибки, карьеры, налоги, пороги, судороги и беды, которые принёс, пронёс, заслужил и затеял.

Так брёл он и молился, и ждал ответа, и брёл, и жалел себя, и никого больше, потому что не было у него больше сердца, и не жалел никого больше, а только себя, — ведь для себя не нужно сердце, ведь сердце всегда для других, и в этом смысл — в том, чтобы отдавать своё сердце на радость другим, и принимать ответственность за сердца других, и никогда не жалеть себя, потому что кого тогда жалеть сердцам других, если не тебя?

Так брёл Семёнов и молился лесному духу. И ждал ответа.

И дух ответил. И пробасил дух: «Семёёёноов!» — «Господи. Что такое?» — испуганно спросил Семёнов. «Ты идиооооот, Семёноов, и твоя жизнь лишена смыыыслааа!» — протянул дух и исчез.

А Семёнов опустил на колени, и принялся рвать траву, и рыть пальцами землю, и вытаскивать зелёных в лунном свете червей, и бросать воронам, чтобы ели и меньше лаяли, и меньше охотились, и растолстели, разучились летать, начали ползать, и разрушили этот вселенский закон, и пошла эволюция в обратную сторону, и не один

уже — Семёнов — был идиотом, расплескавшим свою жизнь мимо грядки с зелёной рассадой.

Но снова ошибся Семёнов. Не вороний лай услышал Семёнов. Волчий. Рядом, совсем рядом.

Собрался, отряхнулся и нырнул в открытую дверь покосившегося летнего домика. Захлопнул. Волнительно. Заскребли когтистые лапы, открылись горячие пасти — капали ядовитыми слюнями и прожигали в тонкой двери опасные дыры. Дрожал Семёнов и думал. И забыл про своё чахлое сердце, тёмную душу и токсичность лесного духа. И думал о том, как спастись, как вырваться из этой ловушки.

Решился Семёнов. Решился бежать на раз-два-три. Резко и быстро, без оглядки, обратно к сохшейся малине и скрипам грампластинок.

Выдохнул, встал, сжал кулаки и что было силы пнул по двери. Слетела тонкая доска с петель, и повалилась на землю, и ринулся Семёнов прочь из домика. Метр-два. Большие шаги, подальше отсюда. Подальше от лая жирных чудовищ. И обернулся он коротко, и бежал дальше. Но услышал Семёнов не лай, а скулёж, увидел Семёнов не волков, а мелочь. Остановился Семёнов. Вернулся Семёнов. Не звери там были — детёныши. Может, волчата, щенята. Не лают — пищат.

Дверь подавила малыша. Серого, с белым пятном на лбу. Придавила, сломав и изранив.

Щенок стонал, а братья тормозили его мокрыми носами. Выдохнул Семёнов, приподнял дверь и оттащил в сторону. Наклонился над маленьким. Ещё дышит. Но слабо. Морда кровит. Но вроде несильно. Лежит на боку и хрипит еле-еле, и братья вокруг, и тёмные ели.

И понял Семёнов, что должен сделать. Забрал щенка в охапку и побежал прочь из леса. По заросшей папоротниками тропке, мимо лесного духа, мимо домиков для купальных дам, прочь от соловьёв и молчаливых кукушек.

Так бежал он минуту, другую. Запыхался, замедлился. Не тянет мёртвое сердце, не стучит, не дышит, не работает, не питает конечности красным теплом. Тяжело шагает Семёнов. Но рядом он, всё близко, дорога близко.

Задыхается Семёнов, идёт. Задыхается Семёнов, плетётся. Видит просветы в деревьях и терпит. Выходит Семёнов из леса и падает у дороги на спину. На груди застёгнута куртка. Внутри бездыханное тельце. Вынимает щеночка Семёнов, поднимает щеночка Семёнов, прижимает щеночка к груди и смотрит на звёздное небо. Тихо. Ни звука вокруг.

Стук.

Что такое?

Стук... стук... стук...

Сработало... заработало... Второе... неужели включилось?

Гав!

Гав! Гав-гав! Мокро. То капает слюни ожившей твари. Мелкого волчонка, подлого наглеца, притворного мертвеца.

Стук... стук...

Оно его. Бьётся — его. Его — не Семёнова. Всё зря и больше не будет.

Гав-гав!

И звёздное, сука, небо. И тёплая, сука, тварь. И мёртвое, сука, сердце.

Гав-гав!

Сука. Ну что за сука.

«Я мальчик», — ответил щенок, выпутался из слабых объятий Семёнова, встал на все четыре лапы и побежал в свой тёмный страшный лес.



Мария Игнатьева

## Колыбель родимой речи

\* \* \*

Не чуешь тела, вопреки  
тому, что чувствуешь, как чётко  
движеньем собственной руки  
со лба ты смахиваешь чёлку.  
Ты, поделённая на две,  
как в отрочестве, бестелесна,  
слепые мысли в голове  
скользят по плоскости отвесно.  
Но не гони, повремени,  
исследуй, как они ветвятся —  
две этих жизни, как они  
уже шестой десяток снятся.  
Волна, зовущая волну...  
Замри без цели и движенья —  
там небо с месяцем во лбу,  
там море с этим отраженьем.

\* \* \*

Колыбель родимой речи  
укатала, завела  
в темноту забытой вещи,  
в безъязыкий холод зла.

Чей-то голос распевает  
то ли *баю*, то ли мат,  
будто время заливает  
в приготовленный распад.

Там дуга шестого круга  
в шелковистой чешуе  
золота и изумруда  
вьётся в замкнутой шлее.

У хтонических девчонок  
льётся песня изо рта,

тишины развоплощённой  
розовая нищета.

Где — оливковое масло —  
жизнь из горлышка текла,  
там рассеянная масса  
пластика и пустяка.

Что сулит мне полдень длинный  
сквозь смыкающихся век?  
Как сказал поэт любимый:  
«Я уже не человек».

Под водою остаётся  
в одиночку свирепеть  
и ловить на дне колодца  
туристическую медь.

\* \* \*

Какой бы медленной походкой  
дорога ни передвигалась,  
а злость берёт — какой короткой  
вдруг оказалась!

Что ж, провожай теперь звериным  
укором пажити и горы,  
там с пиренейским розмарином  
усохли годы.

А звёзды ясные, хоть плачь ты...  
А затянувшаяся осень,  
а этот порт, а эти мачты —  
too much, чтоб бросить?

С людьми-то проще: нет и нету  
из убывающей когорты.  
Ищи-свищи теперь по свету  
живых и мёртвых.

Навряд ли новые палаты  
в краю без горечи и грима  
вернут касанье суховатой  
щеки родимой.

И здесь не навсегда, и там не  
наверняка — так, в одиночку  
колотишь в запертые ставни:  
ещё отсрочку!

А вдруг и впрямь в иной отчизне  
земное воротят сторицей:  
оно и так уже полжизни  
всего лишь снится.

\* \* \*

Мужские ряженные груди  
и женских щиколоток вздор —  
татуированные люди  
меня пугают до сих пор  
упорством недоразуменья.  
И без того у нас в крови —  
взять и исчезнуть незаметно,  
как городские воробьи.  
Не надо ныть: Адам не умер,  
он просто поменял прикид,  
над ним луна, как Грета Тунберг,  
надменно рожицу кривит,  
и серебристые узоры —  
последней воли черновик —  
свивают веские резоны  
в сердцах доверчивых чувих.  
В рубашке звёздной паутины  
родится резвое дитя,  
а старичье жуёт мякину —  
постылый ужас бытия.

### Барселонские колас

В железных зарослях густых  
дикорастущей Барселоны  
туземцы смотрят в телефоны  
и важно слушаются их.

Весь этот город — как ремейк  
однажды бывшего шедевра.  
Читатель ждёт уж рифму *евро*,  
а получает рифму *фейк*.

Ликуй, материя, ты дух  
неисчерпаемый, как атом.  
Смерть — лишь патологоанатом  
твоих последних оплеух.

Как было прошлое смешно,  
затянуто и глуповато,  
а этот век — он мозг крылатый,  
быстротекущее кино.

Когда нас мысли усыпят, —  
русалки с белыми глазами  
тряхнут седыми волосами  
в ракушках розовых до пят.

И техник счастья — Гауди —  
на керамическом погосте  
рассыплет радужные кости  
и — в синей пене — бигуди.

\* \* \*

Вязь одинокого балкона —  
пустынной улицы клеймо.  
Свисает сумка «Декатлона»  
с оранжевой своей каймой.

Как действительно пугали  
нас, ностальгических рабов,  
а получите: попугаи  
не хуже русских воробьёв.

Их крыльев зелень на асфальте  
среди шелухи, слетевшей с пальм,  
ещё шуршит в осеннем вальсе.  
Кто видел юг — тот смерть проспал.

\* \* \*

Хребет к хребту, за гривой грива  
Стремятся к берегу, где я  
Фиксирую неторопливо  
Изменчивость небытия.

Длиннее вечер, ночь короче,  
свивая время в новый жгут.  
Бельгийка с другом — пара гончих —  
вдвоём вдоль берега бегут.

А я одна как перст, как перстень  
На вычурной руке мужской,  
Тяну полвека ту же песню:  
Пора домой, пора домой.

*Илья Прозоров*

## Давай посмотреть в окно

*Рассказ*

Маленькое розовое пузо бегаёт по мне, розовый поросёнок — моя дочь. Кусает, щиплет за нос, потом убегает, думает, что догоню, буду мстить.

В ней больше десяти килограммов. Руки крепкие, пальцы хваткие, ногти острые.

И волосы, ещё не длинные, но уже выются за ушами, золотистые стружки, а когда проведёшь ладонью, — смешно стоят, дикообразно.

Бегаёт такой поросёнок-дикообраз по квартире, забирается во все углы. Вылезет откуда-то из-за шкафа, вся в пыли и паутине, как любопытный кот.

Смотрит на взрослых: накажете?

А когда понимает, что миновало, не накажут, вроде и смеются даже взрослые, пойдёт исследовать другие углы, пауков пугать и маму.

Я помню, три года назад, осенью, пришла ко мне Маня. Мы редко встречались, обычно по выходным, когда очень обоим хотелось. Она просто писала часа за два, что придёт, и приходила.

Пришла задумчивая, с тяжёлыми воспалёнными глазами, — умер, может, кто ночным телефонным звонком: бабушка или дедушка.

Ничего не объяснив, исполнила то, за чем пришла.

Уже после, когда я гладил её мокрые виски, робко высматривая что-то на потолке, подложив руку под голову, сказала, что задержка, что тест ещё вчера куплен и ей страшно на него мочиться.

Отвернувшись, тихонько, виновато заплакала.

Приподнялся с постели, обвёл глазами убогое своё жилище, напоминавшее больничную палату из-за нарочитой белизны стен. Жилище, где я прожил последние пять лет тихой бесполой жизни. Где, как мне казалось, удастся создать немало шедевров, и где я не написал ничего близкого к ним.

Достал из тумбочки полную почти пачку сигарет, припасённых для вдохновения. Закурил, хоть и не курил давно. (Или, может, вовсе не курил, просто так мне

---

*Илья Прозоров* — русский эстонский писатель. Окончил факультет славистики в Таллинском университете. Автор трёх книг. Публиковался во всех эстонских литературных журналах и газетах, а также в журналах «Звезда», «Новый журнал», «Нева». Проза переведена на английский, польский и эстонский языки. Лауреат премии Марка Алданова (2019). Родился, живёт и работает в Таллине.

показалось тогда, со стороны на себя глядя, что курил, расхаживая взад-вперёд по квартире, — такой римский философ.)

— Маня, — сказал я, — рожай!

И она родила. Через девять месяцев. В конце июля. Голубоглазую, молчаливую, важную девочку.

Родила просто, за три часа, но перед этим трусила. Я видел, как дёргались её ноги, когда она, сидя на кушетке родильного отделения, не доставала ими до пола, — так, ненадолго выскочив из воды, прикрываясь полотенцем, ногами дрыгают озьявшие летом подростки.

Её несколько раз вырвало. Жмурясь, я ползал по полу с туалетной бумагой. В четыре утра никто не мог помочь: больничный коридор молчал, акушерка равнодушно гремела инструментами за дверью.

Я хотел спать, считал кафельные плитки на стене, буквы на плакате о важности семьи зачем-то и жалел, что многого не успел сделать своего, холостяцкого.

Дочь быстро росла.

Незаметно смыло два года.

— Забери её с собой куда-нибудь, хотя бы на свою эту... дачу. Я хочу отдохнуть. Я больше не могу, — сказала однажды умоляюще Маня.

Я взял, конечно, она так мало спит, ей целый день одной — подарок.

До вокзала Маня нас проводила, наградив уставшей, но нежной улыбкой, взмахнув лёгкой, как крыло, рукой на прощанье.

Поезд шикнул, скрипнул, конвейером потянулась платформа за окном. Маня недолго шла за нами. Взмахнув ещё раз крылом, шепнув святое что-то тоненьким ртом своим, исчезла.

\* \* \*

«Ту-ту-туу...», — тыкает указательным пальцем в стекло, должно быть, думает, что стекло — это вода и можно сквозь воду руку просунуть.

Поправляю, закатываю ей рукавчики, она меня за нос хватает, на нём и так две жирные царапины. Когда хожу по улице, люди шарахаются, думают, что алкаш, сейчас денег буду просить.

— Мне нос ещё нужен.

— Ту-ту-туу...

— А если я сейчас тебя за нос укушу? У меня зубы крепкие.

— Ту-ту-туу...

Сказка — утренним летом поезд.

Пусто. Чисто.

Кондуктор спит у себя на пузе. Жарко там, за окном, а здесь — кондиционер-спаситель, жить можно.

Тянется к моей ладони, перебирает каждый шершавый мой палец, гадают, что ли, мне.

— Что нагадала? — спрашиваю.

— Ту...

— Жить долго буду?

Молчит, сосредоточенно на большой мой палец поглядывает, что-то, наверное, своими умными глазами обнаружила.

— Когда я был маленький, мне настоящая цыганка на руке гадала...

Тёплая весна, жёлтая площадь Витебского вокзала, сухие, сморщенные носильщики в распахнутых тулупах вдруг пронеслись перед глазами, — вспомнил маму.

Мы спускались по ступенькам вокзала навстречу ленинградской весне. «Надену-ка я очки!» — сказала мама и на мгновение отпустила меня, чего старалась никогда не делать: перемещался я быстро, резво, как молодой весенний ветерок.

Я увидел цыган!

Они расположились на ступеньках, подставив солнцу копчёные лица: девочки, мальчики, женщины, сидевшие широко, по-мужски, не стесняясь городской толпы.

И каждый выкрикивал вперёд себя, не глядя на другого, непонятное: «Дезин, бедзен, мидзен...»

Так они разговаривали: дзиньканьем.

Получалось смешное, весёлое, безобидное и чудное мне, таллинскому выглаженному мальчику, общение.

Цыган никто не замечал: угрюмые ленинградцы шли по своим ленинградским делам, и меня это, помню, возмутило.

Цыгане понравились с первого взгляда. Было что-то древнее в их криках. Так, видимо, люди миллион лет назад разговаривали, когда по земле бегали динозавры. (Я очень тогда увлекался динозаврами, в рюкзачке у меня как раз лежала о них книга, купленная бабушкой в Крупе<sup>1</sup>, на книжном развале. Я планировал в будущем стать археологом и найти диплодока величиной с трёхэтажный дом.)

Широкая, огромная, как контрабас, дама, тяжело раскачивая широким задом, поднялась со ступеньки и, троеперстием зачерпнув подол малиновой юбки, величественно подплыла ко мне.

«Какой сдобный паренёк! Как тебя зовут?»

Как учили, громко, внятно, с нескрываемой гордостью, назвался: «Илья!»

Дама, кажется, поразилась такой пусть детской, но честности.

Она улыбнулась.

А я тут же влюбился в её золотой рот, в пушистые усики, ресницами лежавшие над её губами, словно разрубленная пополам миниатюрная ёлочка, в пухлую бородавку, похожую на варёную давленую горошину, в красные гусеничные губы.

«Дай мне ручку, Илюшенька! Расскажу чего интересного...»

Протянул, раскрыл и ужаснулся цвету своей кожи — цыгане меня с собой не возьмут: вон они какие коричневые, их, наверное, солнце очень любит, а я беленький, как молочко, меня солнце не любит.

«...Счастливым не будешь, не вижу у тебя счастья...» — бубнила цыганка, а я тем временем разглядывал нагромождение сваленных на голове платков: красный, зелёный, лиловый; огромный, размером с компакт-диск, амулет солнца на плоской груди; выпуклые трубочки вен на сухих волосатых руках, по которым сочится синего цвета кровь.

«Дочь у тебя будет!» — обрадовалась цыганка, словно отыскав в моей ладони что-то давно ею потерянное.

Я с ужасом посмотрел на неё: какая такая дочь?

Сказала ещё, что будут разные там удачи, встречи, расставания... — стандартный разводной набор.

---

<sup>1</sup> ДК им. Крупской в Санкт-Петербурге, в простонародье «Крупа» — где расположен знаменитый книжный развал (*Прим. автора*).

---

*Наталья Салтанова*

## Рассказы

### *Крик муэдзина*

Удивила чистота в коммуналке. Риелтор Айседора — шумная женщина — протянула мне бахилы, чтобы не натоптать, и мы прошли на кухню.

Напротив плиты — три стола. Первый, возле окна, покрытый голубенькой клеёнкой, над ним — православный календарь. Второй легко складывается, здесь красуется мультиварка. В дальний угол задвинут третий, синий пластиковый, на нём — пиала с растительным орнаментом.

Айседора громко, словно толпе, говорила, почему эта квартира дешевле не продаётся, но если я буду покупать, то пойдут на встречу.

Возле мойки меня заинтересовал разноцветный лист. Это график дежурства по уборке кухни, ванной, туалета и коридора. Столбиком написаны имена: Анна Сергеевна, Лиза, Исмаил.

Вошла, шлёпая растоптанными тапками, старушка в цветном байковом халате, на острой голове — белый, связанный крючком берет.

Айседора втянула живот и развернула плечи:

— Анна Сергеевна, доброго здоровья! Скоро уж паковаться...

— А ты — продай! Нищему-то собраться — только подпоясаться.

Анна Сергеевна со стуком поставила на плиту ковшик с крышкой.

Завершив после захода солнца четвёртый намаз, Исмаил услышал за стеной длинное чертыхание, затем хлопнула дверь соседней комнаты, спешная дробь шагов к выходу, щёлкнул замок.

Соседка жила уже неделю, Исмаил её не видел, но Анна Сергеевна говорила: «Дикая! Голова, как у тебя, бритая, и спит весь день».

Исмаил только слышал Лизу. Обычно поздно вечером, прежде чем выйти из своей комнаты, она ругалась, стоя у двери, тяжёлым матом. Исмаил потом никак

---

*Салтанова Наталья Матвеевна* родилась в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета, курсы сценаристов ВГИК. Автор книг для детей «Старик и Шарль», «Новогодняя история». Рассказы печатались в журнале «Урал» и коллективных сборниках. Пьесы для детей и взрослых были поставлены в профессиональных и любительских театрах России. Преподаёт в Уральском федеральном государственном университете. Участник мастерских АСПИР. Живёт в Екатеринбурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

не мог заснуть, он просматривал на телефоне фотографии детей и жены, отца и матери. Это его всегда успокаивало, теперь — не помогало.

На экране монитора жил прекрасный, в отличие от этого реального, мир игры, созданный ею, и он ей нравился. Лиза погладила себя по затылку, по мягкому ёжику волос, загрузила файлы и отправила ссылку заказчику.

В окне появился сонный луч восхода. За стеной грянул зов муэдзина к молитве — у соседа по таймеру включился телевизор с мусульманским каналом. Лиза отскочила от компьютера и раздражённо заметалась по комнате.

«Господи! Как же всё бесит! Позвонить ему по телефону и всё-всё, что о нём думаю, сказать! Как узнать номер? Спросить у Анны Сергеевны? А она: “Постучись и сама спроси”. Написать записку, положить под дверь? А если он читать не умеет по-русски? Придётся с ним говорить! И смотреть в лицо. А я не могу смотреть в лицо людям! Могу смотреть только в лица собак и кошек. Как всё бесит! Бесит! Бесит!»

Лиза лупила кулаками спинку дивана.

Потом замерла, глубоко вдыхая и медленно-медленно выдыхая.

Пронзительные и тягучие звуки продолжали сверлить утро. Лиза надела наушники и села на кровать. Она положила на колени подушку, воткнула в неё локти, подперла голову правой рукой, а левой взяла смартфон.

— Сколько стоит тишина? — Лиза рассуждала вслух. — Чем измерить тишину? Что взять за основу? Стоимость самого насущного. Забываем в гугл. Хлеб насущный. Цена булки хлеба, умножаем на семь дней. В месяц по деньгам — стоимость интернета. Считай, проведу себе канал тишины.

Поздним вечером в его дверь коротко постучали. Яркие кроссовки, джинсы, обвислая толстовка, накинутый на голову капюшон, пирсинг в тонком крыле носа и тёмные, на пол-лица, очки от солнца.

— Добрый вечер!

Исмаил впервые увидел Лизу и удивился, что она возраста его дочери.

— Уважаемый сосед Исмаил, предлагаю договор, — Лиза тщательно проговаривала каждый слог. — Двадцать рублей в сутки, если Вы утром будете слушать молитву в наушниках. Итого — сто пятьдесят рублей в неделю.

— Сто сорок, — мягко поправил Исмаил. — Семью двадцать — сто сорок.

Девушка стояла, задрав подбородок, белела тонкая шея.

— Я так округляю. — Затем она отчеканила: — Крик муэдзина мешает мне спать!

Исмаил смотрел на своё круглое лицо, дважды отражённое в её очках, чувствовал, как ей страшно и тяжело с ним говорить. Он ответил фразой, которую на русском языке произносил чаще всего:

— Я всё понял.

Лиза тут же попятилась и скрылась за дверью.

На следующей неделе в понедельник утром возле пиалы Исмаил обнаружил на своём кухонном столе конверт с деньгами. Повертев купюры в руке, он вздохнул и подошёл к Лизиной двери, поднял руку для стука, но прислушался к сонной тишине и вернулся на кухню. Написав квадратными печатными буквами «не надо», он подложил конверт под ножку мультиварки.

Придя с работы, Исмаил вновь увидел этот конверт, на котором синим маркером «не» было перечёркнуто.



— Миллионер? — Анна Сергеевна скосила глаза на конверт, потом посмотрела на него поверх очков.

— Товаровед на овощной базе, — широко улыбнулся Исмаил.

— Ты вот скажи, грузчик картошки, ты почему так долго ванну занимаешь?

— Омовение перед молитвой, — поморщился Исмаил, запах корвалола от старушки был ему неприятен. — Анна Сергеевна, пожалуйста, возьмите, — и он протянул ей Лизин конверт. — Купите себе что-нибудь вкусное. У вас же праздник?

— Буквально каждый день. — И Анна Сергеевна положила конверт с деньгами в карман халата.

После вечерней молитвы, тихо ступая в войлочных носках, на кухню вошёл Исмаил. Лиза стояла возле своего стола и засыпала рис в мультиварку. Заметив Исмаила, она вздрогнула, дёрнулась, зёрна защёлкали по столешнице. Лиза замерла с тарелкой в руке, словно высокая статуэтка. Исмаил обошёл её и, подойдя к графику дежурств, напротив своего имени поставил галочку.

Затем он повернулся и посмотрел Лизе в лицо. Девушка от его взгляда вновь дёрнулась и крепко зажмурила глаза.

Выбирая самые дорогие свечи на деньги Исмаила, Анна Сергеевна поймала на себе удивлённый взгляд матушки в кружевной косынке, торговавшей в церковной лавке. Довольная произведённым эффектом, Анна Сергеевна пошла к любимой иконе святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

— Прощу защитить русскую землю! — стала молиться Анна Сергеевна, плавно и широко крестясь. — Наш народ добрый и терпеливый, всех нам жалко, а они и пользуются...

Она говорила святым о том, что срочно нужно сделать в России: девок бритых обратить в веру, чтобы дурью не маялись, детей здоровых рожали, а то русских скоро совсем не останется, а всех нехристей и нечистых отправить обратно к себе, прочь с русской земли.

Старушка долго и с удовольствием молилась. Лики святых смотрели на неё с пониманием, слегка раздвоенная бородка святого Бориса была точно такой же, как у Исмаила, а Глеб своим разлётом бровей походил на Лизу.

Напоследок Анна Сергеевна поклонилась низко до земли и покинула храм.

Через месяц я узнала от Айседоры, что та аккуратная коммуналка уже продана.

## *Новогодний антипод*

Был удивительный Новый год. Мы встречали его без родных, в большом городе. Впервые в жизни я приготовила на студенческой общежитской кухне настоящую утку с яблоками. Сменяя друг друга каждые двадцать минут, мы с девчонками караулили её возле духовки. Самой тяжёлой была моя, последняя, вахта. На божественное благоухание дичи сбегался весь этаж. Сладко жмурясь, они наблюдали, как я поливаю уже тёмно-медовую тушку утки вытопившимся на противень жиром.

Мы ждали знакомых мальчишек — соседей по общежитию. Они сказали, что придут к нам встретить Новый год аж с двумя гусями. Когда парни вошли, мы, чтобы подчеркнуть торжественность момента, включили пластинку. Услышав:

---

*Елена Антипова*

## Что, нам теперь и чуда не полагается?

*Два рассказа*

### *Бабочка*

Покойная мама доктора физико-математических наук Михаила Фёдоровича Штольца повадилась прилетать к нему в виде бабочки. Обычной крапивницы, какая встречается в России повсюду, кроме Крайнего Севера. Но мама Глаша умерла в январе, в самые праздники, когда трудовое население знать ничего не желало про болезнь пусть и пожилой, но вовсе не дряхлой женщины. Какие в январе бабочки?

Три дня мама маялась воспалением лёгких в районной больнице, а на четвёртый перестала. Михаил Фёдорович к такому никак не был готов. Они прожили в этой квартире вдвоём пятьдесят один год, за вычетом двух месяцев — его позорной попытки побега к лаборантке Верочке. «Мама, Мишенька, — единственная женщина, для которой ты останешься главным мужчиной в жизни, она никогда тебя не бросит». Вот и на тебе «никогда».

Суп, сваренный мамой перед отъездом в больницу, закончился аккурат за день до похорон, поэтому на прощание с усопшей Михаил Фёдорович отправился в скорби и в голоде. Воскресения мертвым он не чаял, но терпеливо выстоял службу в кладбищенской часовне, исполняя материнскую волю, известную ему ещё с детства: «Помру, не вздумай закопать меня, как собаку безбожную». Под заунывное пение сначала думал изо всех сил об абелевых группах, но не смог, сдался мысли о том, что на поминки заказано в кафе «Любава»: винегрет с квашеной капустой (сто двадцать граммов), щи рыбные (двести сорок граммов), пюре картофельное с минтаем (сто тридцать граммов плюс восемьдесят граммов), плюшка «Горьковская» (сто десять граммов). Складывал в уме нехитрые числа и никак не мог увидеть перед собой итоговой суммы из-за набегавших на глаза слёз.

---

*Елена Антипова (Александрова Елена Алексеевна)* родилась в 1991 г. в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского и юридический факультет Международного института экономики и права. Рассказы печатались в журналах «Звезда», «Сибирские огни», «Нижний Новгород». Лауреат международного фестиваля-конкурса «Русский Гофман», 2024. Участница проектов АСПИР. Живёт в Нижнем Новгороде. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Впервые крапивница застала Михаила Фёдоровича на сиденье тряского автобуса, в котором он с девятью малознакомыми старухами ехал с кладбища в «Любаву». Он заметил её возле своего плеча, когда, протерев запотевшие от мороза очки, попытался разглядеть в окно остающуюся позади, под чёрным крестом, маму. Бабочка билась в ледяное стекло, не видя пути. Михаил Фёдорович тогда не нашёл в себе сил даже удивиться. Ну, бабочка. Странно, конечно, видеть её здесь в такой холод. Но мысль эта не прижилась в голове, вылетела на первом же повороте.

Разумеется, тогда Михаил Фёдорович ещё не думал, что бабочка — это мама. Мешали советское воспитание и наукоцентричное восприятие мира. Но крапивница появлялась снова и снова, и не в какие-то случайные моменты. Она прилетала в ординаторскую в день, когда декан урезал Михаилу Фёдоровичу часы, что вело к снижению без того невысокого оклада. Оранжевые крылышки мелькнули перед ним во время двенадцатой по счёту попытки самостоятельно сварить проклятый суп. Прилетала бабочка и в тот первый раз, когда суп получился. В третью годовщину маминой смерти она появилась в редакции научного журнала, куда Михаил Фёдорович принёс статью для публикации. А в день, когда началась очередная война, крапивница села на край стола и прошлась по тетралям и справочникам прямо так, пешком, а потом улетела. Тогда-то он и приметил странную закономерность в поведении бабочки и, пока ещё пунктирную, связь её с мамой Глашей.

Не раз во дни, исключительные по своей паршивости, Михаил Фёдорович специально с особым усилием думал о бабочке-маме, и она появлялась. Рассудив здраво, доктор физико-математических наук пришёл к выводу, что раз эксперимент воспроизводим с идентичными результатами, и раз нет иного объяснения, кроме самого очевидного, то гипотеза его верна. Тем более что оспорить её пока никому: о бабочке Михаил Фёдорович никому не рассказывал, интуитивно опасаясь нарушить хрупкую нефизическую природу наблюдаемого явления.

Кафедральные попоища Михаил Фёдорович никогда не любил и старался их избегать всеми правдами и неправдами. Но сердобольные дамы-коллеги, прознав о его безвременной утрате, взялись заботиться о нём до изнеможения. «Михфёдрыч, пойдёмте-пойдёмте, у нас там торт». «А что это у вас, Михфёдрыч, — пятно? Принесите вы мне эту рубашку, я отстираю». «У Аллы Львовны сын на побывку вернулся. Грех не выпить за такое, Михфёдрыч, хотя б шампанского». Так и приходилось запирается с ними в каморке, терпеть спёртый воздух, перегар и маслины, улыбаться, когда надо, и даже посмеиваться над их грубыми шутками. А то, вон, навоспитывали на свою плешь молодёжи, не сегодня-завтра попрут с кафедры.

Так и в тот раз позвали его бабы. Алла Львовна пришла под вечер, лица нет, голова обвязана траурной косынкой: «Пойдёмте, — говорит, — помянем Игоря, сыночка моего». Пришли на кафедру, там столы сдвинуты, на столах пироги, водка, конфеты и фотокарточка в рамке. Парень молодой в рост: рубашка красная, штаны красные, галстук и лента — чёрные. За столом — весь преподавательский состав, декан и секретарша. Михаил Фёдорович подошёл к столу, поднёс фоторамку к лицу — разглядеть.

— Вот такой мой Игорёша. Приезжал когда весной, помните? Мы его день рождения в ресторане отмечали. Это я засняла. Он тогда оделся нарядно. Тут не видно, на рубашке у него ещё на спине узор чёрным. И знаете, чудо какое? Вчера после похорон я на столе перед собой божью коровку нашла. Живую! Маленькая такая,

четыре точки, тоже, значит, красная с чёрным. Она сначала на краю тарелочки сидела, потом по кутье поползла, покушала-покушала и улетела.

Безусый преподаватель Пётр, вчерашний аспирант, отчества которого на кафедре пока не запомнила даже уборщица, хмыкнул в поднесённый ко рту бутерброд.

— Что вы хрюкаете, Петенька? Да, ноябрь, потому и чудо. Мы поминки делали при университете, полно народу было, все, кто рядом сидел, видели его, то есть её, коровку эту. Я уж не знаю, что и думать, но больно много совпадений. И одежда, и всё...

Пётр прикрыл масляный рот ладошкой, вытирается будто. Видно, лыбиться ему охота, но не совсем дурак, понимает, что нельзя. А у Михаила Фёдоровича так внутри стало радостно. Забывшись, он нечаянно грохнул об стол углом зажатой в пальцах фоторамки. Все уставились на него, и ничего не осталось, как заговорить:

— Я вас так понимаю, Алла Львовна! Вы знаете, мама моя, Аглая Степановна, она же меня постоянно навещает. Да-да, в виде бабочки...

Поражённый кафедральный народ уставился на Михаила Фёдоровича, впервые говорящего так, не на аудиторию, а среди людей. Он, привычный к пространным объяснениям, вспоминал поочерёдно случаи явления крапивницы и описывал их с большим вниманием к деталям. Полные стопочки, забытые, испаряли этиловый спирт, пироги черствели и заветривались, молодой преподаватель терял последние силы на соблюдение приличий. На истории о приготовлении супа силы эти окончательно иссякли со звуком сдавленного хохота:

— Ох и позабавили вы нас, Михфёдрыч, — Пётр развернул конфету и закинул в рот.

— Не вижу ничего смешного. — Михаил Фёдорович снял очки и зашарил по карманам в поисках специальной тряпочки.

— Вы серьёзно? Это же чисто антинаучный бред.

— Зачем так грубо, Петенька? — Алла Львовна промакивала подступившие слёзы.

— Извините, но правда, это эзотерика какая-то. Ладно, бабки на лавочке. А вы, люди со степенями, как можете не понимать всю абсурдность...

— Позвольте, но Альберт Эйнштейн, к вашему сведению, в последние годы своей жизни был глубоко верующим человеком, и это никак не мешало ему...

— При всём уважении, Михфёдрыч, вы всё-таки не Эйнштейн.

— И что теперь? Нам, со степенями, чуда не полагается? — Мать Игорёши, заслонив рот рукавом, выбежала из аудитории. Михаил Фёдорович кашлянул в тишину и вышел следом.

Ночью он не спал совершенно. На следующий день позвонил в деканат и сказался больным. А потом настали выходные, худшие на его памяти. Доктор физико-математических наук Михаил Фёдорович Штольц лежал на кровати в той же одежде, в которой он сбежал с кафедры, и пытался понять, в чём изъян в его логике. Третий день подряд он звал маму, просил хоть на секундочку появиться, дать ему пусть маленький знак, что он прав, что несправедлив к нему этот олух, что мама если и умерла, то не до конца и что не придётся жить ему без неё совершенно. В этот раз он будет умнее. Вот он, дедов фотоаппарат. Надо зафиксировать бабочку, показать её всем, — и никто, ни один человек, не посмеет больше оспаривать такие простые и очевидные вещи и не заставит сомневаться его.

Она появится, обязательно появится. Иначе что тогда? Тогда смерть — навсегда, тогда мамы нет больше, никак, ни в каком виде. Михаил Фёдорович метался по кровати, вскакивая от малейшей иллюзии движения воздуха, но, не увидев ничего,

падал на спину, как истеричный ребёнок, задыхался в рыданиях, сквозь рубашку расчёсывал себе грудь обкусанными ногтями. Выдыхаясь, он окаменело пялился на чёрный комод у кровати, на котором пахли мамиными руками её духи и прочие неприкосновенные баночки. Если смерть абсолютна, тогда и от него, учёного с более чем тридцатью публикациями в именитых изданиях, в том числе и на иностранных языках, не останется ничего, даже крылышка, даже крохотной насекомьей лапки, только куча мёртвых вещей.

В воскресенье, ближе к полуночи, после трёх суток бессонницы и мольбы Михаил Фёдорович привязал к люстренному крюку шнур от маминого утюга и удавился. В последний раз закрывая глаза, он так и не заметил бабочку, присевшую на кончик его потного носа, обычную такую крапивницу, какая встречается в России повсюду, кроме Крайнего Севера, но и на Крайнем Севере, говорят, хоть и крайне редко, но всё же встречается.

## *Самец*

Толик Самец позвонил в половине третьего, и я сразу напрягся: не в его это практике.

— Миш, ты как сегодня вечером?

— Здравствуй, Толя.

— А, да, привет. Ну так?

— Сегодня? Маринка с пацанами у матери до понедельника, так что...

— Вот и ладушки. Поговорить надо.

— О чём?

— Не по телефону.

— Мне заехать? Только я без машины, ГУР полетел...

— Это даже хорошо. Я сам подъеду. Ты до шести?

После такого я совсем уж подвис.

Самец в последнее время меня звонками не баловал. За полгода виделись мы только на днюхе у Эдика, ну и ещё раз я к нему заезжал в холостяцкую его хату возле вокзала, чай пить с тортом. А, вру, ещё было в конце апреля. Он мне позвонил, как обычно, загодя, во вторник или среду, попросил отвезти на Средной рынок за мясом.

Пока у меня младший не родился, мы так за месяц по два раза катались через полгорода за килограммом костей: ему, говорит, выгодно, а мне и не сложно. Да чего, когда в общаге делили комнату, сложнее было не встречаться больше двух дней, а теперь, конечно, раз в квартал пересечёшься — уже успех. Это нормально, это у всех так, но Толик эту правду взрослой жизни понял не сразу.

Когда мы с Маринкой съехались, долго он мне мозги делал, мол, не женись, это ошибка, все бабы — суки меркантильные, и твоя не лучше. Я сначала обиделся, конечно, но быстро отпустило. Грубое студенческое своё погоняло Самец получил не за популярность среди девчонок, а, наоборот, за полную самостоятельность в половом вопросе. Самец всё делал сам, был чрезвычайно горд этой независимостью и без стеснения смеялся надо мной, убегающим на очередное свидание:

— Автобус — десять рублей, так? На улице минус пятнадцать, она из Политеха. У них турникеты, у нас турникеты. Значит, в кафе пойдёте. Считай, ещё рублей двести, и то если она не сильно голодная. Потом ещё десять рублей на автобус обратно,

---

*Сауле Кожатаева*

## Эльза в стране Абралы

*Рассказ*

— Эльза! Я знаю, нет такой страны, Абралы. — Маленький Бруно снисходительно смотрит на свою прабабушку. — Я загуглил все страны. И мама сказала, нет такой страны!

— О, Бруно! Раньше ты верил мне! — Эльзины глаза, выцветшие за восемьдесят семь лет жизни от ярко-фиолетовых до блёкло-голубых, смеются. — Когда же ты перестал верить?!

Впрочем, она сама знает когда. С недавних пор и Генрих, её внук, и сноха Анна стали проявлять снисходительность к Эльзиному возрасту. Снисходительность молодости к причудам старости. Бруно считает это так — они с любимой Эльзой теперь на равных, она тоже, оказывается, сочиняет и привирает. Как и он. Иногда.

Семья внука переехала в Мюнхен всего три года назад, когда Генриху доверили руководить местным подразделением фирмы. А Эльза жила в пригороде, в большом доме. Одна. Этот дом спроектировал и построил её муж, известный в Германии архитектор. Его нет уже двадцать лет, а тёплый дом остался.

Оба сына в разных странах. Эльза привыкла к одиночеству: завешание написано, и даже договор с пансионатом «Серебряная старость» — на случай наступления совершенной беспомощности. И вот, как подарок, частое общение с внуком и правнуком. Они приезжают к Эльзе каждые выходные, иногда и с Анной. Уже два раза на время длительных поездок родителей Бруно оставался с прабабушкой. Вдвоём им никогда не скучно. У Эльзы столько историй! Правда, мама говорит, что Эльза выдумывает их. Что так не бывает. Ещё прабабушка и семилетний правнук любят поспорить друг с другом. Они спорят, или соревнуются. Эльза никогда не поддаётся, как и Бруно, любит побеждать. Старый и малый.

— А ещё мама сказала, что кости умерших животных нельзя держать дома. Что это варварство. — Бруно с интересом наблюдает за Эльзой, ведь сейчас рушится её авторитет старшей.

---

*Сауле Кожатаева* родилась в 1967 году. Окончила факультет филологии Педагогического института им.Н.Крупской в городе Семипалатинске. Работала преподавателем на кафедре лингвистики. Предприниматель, блогер. Училась в литературной школе «Литпрактикум» писателя Ильи Одогова. Рассказы печатались в журналах «Дактиль», Jablonja и др. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Какие же кости имеет в виду твоя мама? — Выцветшие глаза продолжают смеяться, и в такт им мелко-мелко подрагивают воздушные, белоснежные кудри на старческой голове.

Бруно начинает догадываться, что не так-то просто пошатнуть авторитет Эльзы.

Он быстро взбегает на второй этаж, влетает в прабабушкину спальню, хватается с комода деревянную резную шкатулку и несётся вниз. В Эльзином доме Бруно можно всё. Нет такого уголка, который остался бы не исследован. Содержимое шкатулки он знает наизусть. Сложенный вдвое листок бумаги, почти истлевший от времени, он упакован в прозрачный пластик. Еле проступают незнакомые буквы, Эльза говорит, что они русские. Ещё она сказала, что это справка о её свободе. Неровно обрезанная ленточка из ткани, тоже почти истлевшая. Эльза говорит, что когда-то у неё были косы и эта ленточка именно для них. Но Бруно знает, как выглядят настоящие ленточки для волос — атласные или шёлковые, в общем, нарядные. Как у его мамы. И вот эта кость, удивительным образом удобно лежащая в ладонь — хоть детскую, хоть взрослую. От времени она неровно пожелтела. Там, где впадины, желтизна сильнее и гуще. Где выпуклости — меньше. Иногда она кажется лёгкой, но временами будто обретает тяжесть. Кость неровно отполирована. Она совершенна в своей причудливой форме. Как совершенно всё, что создаётся природой. От Эльзы Бруно знает, что кость овечья.

— Вот твоя коленка. Эта кость очень важная, она сгибает и разгибает твою ножку, — объясняла Эльза правнуку, — а это овечкина коленка.

— Такая маленькая?! Зачем ты её хранишь?

— Это моя первая победа, мой важный выигрыш...

— Расскажи, расскажи! — Бруно в нетерпении подпрыгивает.

— Не сейчас, родной, пусть придёт время...

Сегодня её правнук сжимает в ладони эту кость и серьёзно-испытующе смотрит в глаза.

Телиш посмотрел в просящие глаза семилетней Эльзы и кивнул, разрешая пойти с ним. Весна пришла в село Абралы, как всегда, с небольшим опозданием. Но пришла дружно и уже почти осушила землю. Ребята собрались там же, где всегда, ещё до войны, играли в асыки<sup>1</sup>. На окраине села, за домом табунщика Елюбая. Там была большая, хорошо утоптанная и почти ровная площадка. Уже пришли долговязый Артык, друг Телиша, Социал, сын сельского бригадира, и самый старший из ребят — Косжан. Социал, увидев Телиша с Эльзой, сплюнул, как взрослый:

— Что ты возишься с этой пашисткой?! Не мог оставить дома?

— Она немка, а не пашистка. Отец так сказал.

— Вот теперь твой отец и воюет неизвестно где с такими немцами!

Телиш сжал кулаки. С ноября от отца пришло единственное письмо.

— Вы будете играть, или нет? — мрачно вступил Косжан. — Мне за дровами надо ехать.

Косжан старше других ненамного. За зиму он сильно вытянулся, и теперь из короткой телогрейки торчали худая шея и длинные руки. Зимой Косжан верхом на лошади поехал искать отбившихся овец, а к вечеру разыгралась пурга. Он заблудился. Белая степь не давала никаких ориентиров. Он кружил на обессиленной лошади

<sup>1</sup> Казахская национальная игра на выбивание. Асык — надпяточная кость овцы.

до тех пор, пока случайно не наткнулся на заброшенную кошару. Там и переждал непогоду. За день до этого на отца его пришла похоронка.

Эльза знает всё это, потому что слушает разговоры взрослых. С недавних пор она слышит понятную и связную речь, а раньше только странный бессмысленный шум чужого наречия.

Ещё она знает, что сейчас будет жеребьёвка. Телиш учил во дворе младшего братишку Амантая, а она всё запомнила. Так и есть, ребята достали свои сака асыки. Сака — главный биток. Хороший, везучий сака можно выменять даже на кожаный кнут, но никому из ребят это в голову не придёт. Ведь именно сака обеспечивает тебе победу в игре асык. Ещё она запомнила, что алшы — это положение асыка боком, вверх смешной выемкой, а плоской стороной вниз. Бук — положение выпуклой стороной вверх. Это запомнить очень легко, ведь казахское слово «бук» и звучит выпукло. Омпы — вертикальное положение асыка, когда его «усы» воткнуты в землю. Эльза думала, что асык не может так упасть, но Телиш показал, что запросто возможно. А тайке — это алшы наоборот. Есть ещё шиге и шонка, но Эльза ещё не запомнила их положение. Ребята одновременно кинули свои сака. Тот, чей биток выпадет в положение алшы, начинает игру. В алшы выпали сразу два асыка — Социала и Телиша. Теперь право первого броска разыгрывается между ними.

Эльза чувствует, что Телиш добрый и честный, а Социал — ябеда и врун. Когда-то их отцы дружили. Один назвал своего первенца Тельманом, в честь немецкого коммуниста, а другой Социалом, в честь социализма.

Социал радостно вскрикнул — его сака снова выпал в алшы. Телиш отошёл в сторону.

Все асыки уже расставлены в ряд на определённом расстоянии. Игра началась...

Как всегда, больше всех асыков выбил Косжан. У него был необычный биток: крупнее и даже слегка тяжелее, чем у других. Но дело, конечно, было в ловкости и меткости мальчишки. Социал завидовал и шёпотом говорил, что Косжан залил в свой биток свинец. Но если бы это было правдой, то биток был бы гораздо тяжелее. А ещё, если до Косжана дойдут эти слухи, то он не посмотрит, что отец Социала целый бригадир. Устроит знатную трёпку. Артык тоже хорошо играл, но всегда немного уступал Косжану. Артык — это «лишний», про себя переводит Эльза. У него лишний шестой палец на правой руке, прямо рядом с большим. У деда Артыка, огромного бородатого Ынсангожи, тоже лишний палец, только на ноге. Телиш сказал, что через поколение передаётся. Если бы у отца Артыка было такое, то его не взяли бы на фронт и он был бы сейчас жив. Социал говорит, что Артык нечестно играет — выбивать ему помогает лишний большой палец. А Эльза знает, что это не так. Она внимательно наблюдает, кто как играет. Лишний палец тут ни при чём. Телишу сегодня совсем не везло — проиграл асыков больше, чем выбил. А овец сейчас все берегут, никто не режет. Долго же придётся восстанавливать количество. Особенно жалко пару асыков, которые ещё отец отполировал, подпиллил для устойчивости края и покрасил. Эх!

Игра подошла к концу. Эльза подёргала за рукав расстроенного Телиша и жестом попросила сака. Игра ведь уже закончилась, можно ли ей разок попробовать выбить асык?

Ребята засмеялись.

— Немая пашистка хочет помочь самому меткому в нашем селе игроку! — глумился Социал.



— Да ладно! — великодушно разрешил Косжан. — Пускай кинет один раз.

И для смеха выставил в ряд с другими асыками свой знаменитый сака. Стало ещё смешнее. Даже Телиш улыбнулся и снисходительно протянул Эльзе свой биток.

Девочка отошла на нужное расстояние, привстала на одно колено, прижмурила один глаз и прицелилась. В это время из-за туч упал широкий луч солнца. Вся сцена заиграла. Голая степь за краем маленького казахского аула Абралы. Земля, источающая влажные весенние запахи. Ребятишки, исхудавшие и повзрослевшие после первой военной зимы. На них старые тулупчики и ватники, навсегда пропитавшиеся животным, шерстяным и навозным запахом. Дети, вспомнившие, что они дети, и пришедшие сюда играть. Неожиданно оказавшаяся здесь девчонка с тонкими белёсыми волосами цвета ковыля и глазами цвета яркого неба.

Эльза кинула биток. Он полетел, кувыряясь в воздухе. Летел быстро, но медленно. Так медленно, что Эльза вспомнила *всё*.

Первый кувырок. Солнечные блики на отполированных костяных боках. В памяти всплывает, как куда-то уводят отца, плачут старшие сёстры Анна и Мария, а Эльза ещё ничего не понимает. Как на следующий день мама подавленно сказала: «Дети, меня уволили».

Второй кувырок. Солнечный луч смог добраться до смешной выемки алшы. Эльза вспомнила, как в их жизнь вошло слово «война» и она стала понимать, что быть немцем — плохо и опасно. Вспомнила, как они собрались в один день: мама, сёстры и она. Как холодным осенним днём их погрузили в полный немец эшелон. Выжили в тех товарных вагонах только те, кто правильно собрался, взяв тёплые вещи. Мама не умела правильно собираться, она была учителем музыки. Первыми ушли Анна и Мария, как и другие дети, от холода, голода и болезней. Их тела остались где-то под Оренбургом. Перед этим мама сняла с них пальто и укрыла ими Эльзу. Потом ушла мама. Предварительно сняв с себя все тёплые вещи. Эльза тоже должна была уйти, но не успела. Через полтора месяца пути эшелон прибыл в Казахстан, к пункту назначения.

Третий кувырок. Сака асык, купаясь в ярком солнечном туннеле, стремительно-медленно приближался к цели. Эльза вспомнила, как в Семипалатинске её, полуживую, передали отцу Телиша со словами: «Вот её бумага, распределена в Абралы». Как она поняла, что онемела, не в силах выдавить из себя ни звука. Как тихо скулила ночами. Как Разия откладывала от себя уснувшую грудную дочь и притягивала Эльзу. «Тсс, тсс», — уговаривала она прозрачно-белую девочку и тихо что-то пела на незнакомом языке. Эльза прижималась к ней, пытаясь согреться. Как в ряд лежали четверо детей Разии, великодушно отдававших в этот момент свою маму чужой девочке. Как Разия неровно обрезала свой цветастый ситцевый платок и вплела в её косу ленточку.

В этот момент сака асык Телиша кувыркнулся в последний раз и долетел до цели, выбив сака асык Косжана. Все оцепенели. Косжан взял себя в руки и передал свой сака Эльзе. Она подошла к Телишу и на раскрытой ладони протянула выигрыш ему. Телиш не взял, отрицательно качнув головой. Лишь молча собрал её ладонь в кулак. Внутри лежал согретый солнцем сака.

Как же быстро Эльза бежала! Даже быстрее ветра! Во дворе стояла Разия, приложив козырьком ко лбу ладонь. Ой, Аллаи! Что там кричит эта девочка Эльза? Может, кажется? Ведь она немая.

А девочка влетела с криком: «Апа, Апа! Мен уттым!»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Мама, мама! Я победила! (*казах.*)

Четвёртая весна пришла в село Абралы рано, и уже в мае степь была почти летняя. Старики говорили, что лет двадцать не припомнят такой дружной и ранней весны. По всем приметам в этом году даже Куралай<sup>1</sup> будет не таким холодным, как всегда.

Эльза бежала так быстро, что сейчас могла бы обогнать даже Косжана, самого быстроногого мальчишку в ауле.

Белокурые волосы растрепались, потому что косы её давно расплелись, и ленточки, нарезанные из старого ситцевого платка Разии, остались лежать на пыльной дороге. Ветер любил трепать податливые Эльзины кудри, похожие цветом на бело-золотистый, шелковистый ковыль. А попробуй-ка справиться с казахскими толстыми косами цвета воронова крыла!

Эльза задыхалась от бега, а ветер ласково, но настойчиво дул ей в спину, как в паруса, подгоняя и ускоряя бег: «Беги, Эльза!»

По голенастым ногам девочки хлестали ветви низких кустов с ярко-синими мелкими цветами. «Көк көз» — синие глаза, — так называли их в ауле за ультрамариновую синь. Эти цветы раньше ревновали к Эльзиным глазам: то фиолетовым в тревоге, то ярко-голубым в радости. Теперь ведь эту девочку зовут «Көк көз», — цветы потеряли свой эксклюзив на фоне чёрно-карих казахских глаз.

Но сейчас они тоже дружески подгоняли, трепеща лепестками: «Беги, Эльза, беги! Наши ветви не будут тебе мешать!»

А в кармане азартно перестукивались асыки. Никогда не думали, что Эльза научится играть ими! А вот поди ж ты... Играет так ловко, что многих пацанов обставляет. Самый главный — сака асык — стучал громче всех. Они с Эльзой сегодня с утра собрали четыре новеньких асыка, ябеда Ораз чуть не расплакался с досады!

Асыки, толкаясь в тесном кармане, гремели: «Беги, Эльза, беги! Ты самая ловкая и быстрая сегодня!»

Вот появились крайние дома аула. У своих ворот стоит всегда сердитая старуха Батес: «Эй, Элз! Эй, неміс қыз, не болды?»<sup>2</sup>, — взволнованно спрашивает она.

Но Эльза не может даже притормозить и, махнув рукой, бежит дальше. Аульные собаки с радостным лаем сопровождают девочку: «Беги, Эльза, беги! Мы знаем, почему ты так быстро бежишь!»

Разия, приложившая ладонь козырьком ко лбу, издалека не слышит, но видит, что Эльза кричит: «Апаа, Апаа!!!»

Эльза влетела во двор:

— Апаа! Апаа! Соғыс аяқталды!<sup>3</sup>

Бруно разжал свою ладонь. Кость обрела историю и смысл. А ещё была тёплой, как живая. Это потому что он сильно сжимал её. Наверное.

— Эльза, а когда ты умрёшь, можно я этот асык возьму себе?

— Конечно, родной! — улыбнулась Эльза. — Я буду рада, что он в надёжных руках.

«Возможно, это произойдёт уже скоро», — подумала Эльза. Ведь вчера ей приснилась Разия. Она стояла, молодая и красивая, как тогда, держа козырьком ладонь над глазами. И, молча улыбаясь, смотрела на маленькую Эльзу.

<sup>1</sup> Несколько холодных дней в мае месяце во время окота.

<sup>2</sup> Эй, Эльза! Эй, немецкая девочка, что случилось?

<sup>3</sup> Мама, мама! Война закончилась!

*Вера Калмыкова*

## Во времена всегда последние

\* \* \*

Во времена всегда последние,  
и вдох, и выдох — Божья милость.  
Пейзажи озирать соседние,  
запоминая, что случилось.

Довольны зеброй полосатою  
скрипим, болтаем, тянем лямку,  
искусствоведами завзятыми  
за мигом миг вставляем в рамку.

Подтверждена пора бездумная  
уведомлением в конверте,  
а жизнь дана зеленошумная  
для примирения со смертью.

Но память делится видением  
заклеенных крест-накрест окон,  
и звуком взрыва, и падением  
на солнце блещущих волокон.

Ох, нам бы в лес, на мох, на верески,  
но всё страшней и безобразней —  
и никогда косым Андреевским,  
скорей Петра святого казнью.

Жилое становилось полостью,  
безлюдьем, тишиной, печалью.

...О только б жизненные полосы  
не пролегли диагональю.

\* \* \*

Всё, что делаю я, —  
стягиваю разошедшиеся края мира.  
Высаживаю на них деревья  
в надежде, что корни переплетутся,  
а листва со временем образует почву.

Время, время, лишь бы оно осталось!

Взрывы, половины домов,  
мёртвые и калеки —  
это очень близко,  
если считать в рукопожатиях, а не километрах.  
Так мало расстояние в один или два человека.

У тебя автомат, и ты вернёшься с войны.  
Я не умею стрелять, меня на войне не было,  
я навсегда там останусь,  
потому что её не могло быть,  
но она — была.

\* \* \*

Не видно зги, не слышно вдоха  
и кровь во облацах темна.  
Не отвергай:  
твоя эпоха,  
твоя страна,  
твоя война.

Не отвечай на зов убожеств,  
прими судьбу: такие дни.  
Гляди в себя, и сколько сможешь —  
хоть столько мира сохрани.

\* \* \*

Нестерпимое стерпится — время лечит,  
нелюбимые слюбятся, как ни жаль их.  
Позабудутся тёмного лихоречья  
поистертые ненавистью скрижали.

И когда повстречаются в небе тени,  
с удивленьем разглядывая могилы,  
вознесётся дивнословес плетенье:  
«Я любил тебя». — «Как я тебя любила...»

\* \* \*

Сокровища разбросаны по миру.  
Где сердце? В мире.  
Что же сердце? Мир.  
И, в пыль дробясь, оно, как прежде, цело,  
ведёт своё несбыточное соло —  
живую кровью песня солона.

Как умница и логик Навсикая  
с любимым расстанется не вздыхая,  
так я приму свой жребий без обид.

«Не спи, художник»? Пусть художник спит,  
но пусть ему в рассветный час приснится  
заполненная смыслами страница,  
когда кругом кромешный вздор — ни зги,  
проснись и заклани: «Реальность, сгинь,  
ты зарвалась, и я тебя меняю».

Но этот разговор ведётся с Богом,  
его нельзя ни перейти, ни вычесть,  
Господь лучом и облаком ответит.  
И речь Его  
ясна как свет.  
Нет, всё-таки ясней.

*Владимир Нуров*

## ЧЕРНОГОЛОВЫЙ

*Фрагмент романа*

*С калмыцкого. Перевод Геннадия Калашникова*

*«Белобородый старец» — так называется роман старейшего писателя Калмыкии Владимира Нурова. Роман о трудной судьбе нескольких семей калмыков, оказавшихся высланными в Сибирь ещё до тотальной депортации 1943 года. Широкий панорамный охват нелёгкой жизни в суровой тайге, поиски взаимопонимания с коренными сибиряками, неизбывная тоска по родным степям, любовь, сострадание, надежда, — всё это передано в романе с подлинным художественным мастерством, увидено глазами очевидца, выстрадано долгим осмыслением этого трагического периода в жизни степного народа. Несмотря на тяжёлые, а порой и трагические обстоятельства жизни персонажей романа, он весь пронизан верой в человеческую доброту, в уникальность каждой судьбы, верой в силу человеческого духа.*

*Действие романа разворачивается и в глухой сибирской деревне, и в бескрайней калмыцкой степи.*

*Предлагаем читателям несколько глав из романа «Белобородый старец».*

*От переводчика*

\* \* \*

Бадма провёл ночь возле отары и ранним утром вернулся в саманный дом отдыхать. Амуля, подоив коров, определила телят в загон, а стадо погнала на пастбище.

Теперь настала очередь Намана. Он взял с собой бортхо с кумысом, бутылку с креолином, подхватил палку с крючком и поспешил за отарой на выпаса.

Вернулась Амуля, налила часть молока из утреннего надоя в деревянный сосуд с кумысом и начала взбалтывать шумовкой.

---

*Нуров Владимир Дорджиевич — народный поэт Республики Калмыкия, заслуженный работник культуры Калмыкии и Российской Федерации. Почётный гражданин Республики Калмыкия. Родился в 1938 году. Автор свыше тридцати книг стихов и прозы. Его произведения переведены на многие языки мира и опубликованы в разных странах.*

*Калашников Геннадий Николаевич — поэт, прозаик, переводчик. Автор семи книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.*

Напиток, вобравший в себя соки и энергию целинной степи, вздыхал и шумел, казалось, он готов был разорвать железные обручи. Аромат кумыса распространялся по дому, ударял в нос, опьянял.

Манджи, спавший на кровати у дальней стены, проснулся:

— Сестра Амуля, давай я буду взбалтывать кумыс. А ты управляйся по дому. У меня есть время до обеда.

— Хорошо. Пока солнце не припекло, я займусь кизяком. А ты, Манджи, как следует взболтай кумыс. Когда собьёшь масло, отложи его в чашку.

Амуля выгнала телят из загона, намотала верёвки-привязи на их шеи и отпустила телят в степь. Из коровьих лепёшек, перемешав их с соломой, она изготовила кизяк, отформовала его в виде кирпичей и оставила сушиться на солнце у стенки.

Помыла руки и стала обрабатывать овчину кислым раствором бозо.

Два выкормыша-ягнёнка блеяли и бегали за ней как щенята, путаясь под ногами. Амуля погладила их, подождите, мол, знаю, пока не получите еду, покоя не дадите. Они как будто поняли её, притихли и лишь следили за ней.

Амуля налила молока в две бутылки с сосками и стала одновременно кормить. Белые ягнята с шёлковой шерстью, задрав хвостики и упираясь копытами в землю, жадно утоляли голод. Амуля накормила, положила кирпичного чаю в кипящую в котле воду, заправила молоком, маслом, солью, как следует перемешала и отнесла котёл в дом.

И тут же, схватив вёдра с коромыслом, поспешила к колодцу за пресной водой.

Два ягнёнка сопровождали её повсюду, будто нашли мать, скакали наперегонки, бодались и щипали траву.

А Манджи, взбалтывавшему кумыс, казалось, что это не кумыс шумел и шипел, а море, и что держал он в руках не шумовку, а руль судна, плывущего по океану жизни, и высокие волны бросали его парус до самого неба, а солёные брызги моря текли по его лицу.

Увлёкшись мечтой, он работал до пота, ничего не замечая вокруг. Но внезапно очнулся. Ему показалось, что дом вздрогнул от громкого топота копыт.

Манджи с удивлением прислушался.

— Кто-нибудь есть в доме? — послышался голос со двора.

По-прежнему удивляясь, Манджи вышел и увидел табунщика Балдыра Кекеева на сивом жеребце. Разогретый в быстрой скачке конь, закусив удила, переступал с ноги на ногу и всхрапывал.

Балдыр, привязав коня к столбу, подошёл поздоровался.

— Кроме тебя есть кто в доме?

— Бадма отдыхает после дежурства. Войдите, дядя, в дом. Утолите жажду, — пригласил Манджи. Он налил в чашу кумыса, разбавил холодной родниковой водой и подал Балдыру.

Балдыр, мучимый жаждой, одним махом выпил холодный напиток.

— О-о, как хорошо! Будто ожил, — выдохнул он. — Будь всегда таким щедрым и приветливым. Многие лета тебе.

Вытер губы, вернул чашу Манджи.

Из комнаты вышел Бадма.

— Привет, Балдыр! Какие новости?

— Да все живы-здоровы. Бадма, Манджи, слушайте, я приехал по срочному делу. В отаре Басана Кондышева волк задрал десять валухов. И он на этом не остановится, раз уж ему удалось так пожить. Председатель колхоза надеется на мужчин вашей

кошары. Хотел приехать сам, но его неотложно вызвали в улуском. Он просил сообщить вам эту весть. Говорит, если не уничтожим волка, он не остановится, пока не вырежет всю отару. Думайте, мужики. Надо искать выход.

— Удивительно! В это трудно поверить. Неслыханно, чтобы в разгар лета так взбесился волк... Знаю, возле хотона Укряхин есть логово. Но поблизости от своего места никогда не разбойничают. Откуда они пришли? — раздумывал Бадма.

— Брат Басана, Бамба, выкрал волчонка из ближнего логова. Вот почему волки задрали овец. Они мстят, — объяснил Балдыр.

— Ну, тогда на волков нечего и обижаться. Они вынуждены так поступить! Знаешь, кто хорошо знает повадки волков? Наман. По этой части в хотоне Бугу никто с ним не сравнится. Он постоянно ходит на волков. Пусть председатель колхоза сам поговорит с ним. А я ничего не могу обещать, — заключил Бадма.

Пока мужики обсуждали известие о волках, пришла Амуля с ведром холодной воды.

— Здравствуй, Балдыр! Свата узнала по коню. Заметила, что ты очень спешил. Конь весь в поту, ещё мокрый. Это же тот жеребец, который кусается?

Балдыр посмотрел на Амулю, усмехнулся и кивнул:

— Верно подметила, сестра, эти два председательских жеребца, кроме меня, никого не признают. Я по просьбе председателя прибыл. По неотложному делу.

«Если в такую жару приехал по заданию, да ещё спешил, значит, дело серьёзное», — подумала Амуля, но ничего не спросила. У калмыков таков обычай: пока человек сам не скажет, расспрашивать неприлично.

Амуля поставила на низкий стол калмыцкий чай. Хлеб с румяной коркой, испечённый на сковороде. Сливочное масло. Налила чай в чашки. Мужики сели, скрестив ноги, и начали степенно пить горячий чай.

— Этой ночью волк на кошаре Кондышева задрал несколько овец. Поэтому и приехал Балдыр, председатель колхоза послал, — объяснил Амуле Бадма.

— В наших местах такого случая давно не было. Что тут скажешь? Насчёт волков в нашем хотоне знаток только Наман, всё о них знает, все повадки. Скоро отара пойдёт на водопой. Идите ему навстречу, на колодце и встретитесь, — посоветовала Амуля.

— Это правильно. Если задумали такое ответственное дело, надо встретиться с Наманом. Он и должен решить, как быть. Думаю, он знает, — сказал Бадма и поднялся из-за стола. — Ты, Манджи, иди к отаре, поможешь Наману. На водопой овец надо пускать небольшими партиями. А мы с Балдыром будем черпать воду из колодца и наполнять водопойные колоды.

На этом они разошлись.

Когда вышли из дому, жеребец, ожидавший хозяина, громко заржал и начал пританцовывать, взбивая пыль. Горячий степной ветер шевелил его густую гриву. И хотя конь проскакал немалый путь, он готов был скакать и дальше, состязаясь с ветром.

Едва Балдыр вскочил в седло, как жеребец тут же полетел стрелой.

У колодца Бадма намочил рубаху в холодной воде и, обернув ею голову, начал поднимать из колодца бадью за бадьёй. Отара большая, и воды надо много.

Балдыр успокоил разгорячённого коня, отпустил подпругу и снял седло, вынул удила, дал жеребцу время остыть и лишь потом напоил его.

Вдвоём с Бадмой они набирали из колодца воду и выливали в длинные корыта.

Овцы, почуяв воду, почти бежали. Идущие впереди отары Наман с Манджи стали небольшими группами запускать их на водопой.



Подросшие ягнята с матками, утолив жажду, отходили от колодца. Вскоре овцы сбились в кучу, пряча от жары головы в тени друг друга.

Наман подошёл к колодцу с последней партией овец, поздоровался с гостем и, освежив водой лицо, жадно припал к бортоху с кумысом. Манджи уже рассказал ему, по какому делу прискакал Балдыр.

Жеребец стоял спокойно и умными глазами смотрел вокруг. Наман, наблюдавший за конём, сказал:

— Это один из тех жеребцов, на которых ездит председатель?

— Да, брат Наман, верно говоришь. Ты как бывший табунщик что можешь сказать об этом коне? — спросил Балдыр.

— На первый взгляд, он крупный, сильный, норовистый. Но, к сожалению, не вынослив.

— Да, точно... Хотя эти два жеребца и по масти, и по возрасту одинаковые. А вот по выносливости разнятся. Второй может идти рысью хоть целый день и не устаёт. Разогревается, правда, медленно. А этот потеет. Хоть выжимай, — согласился Балдыр.

— Жеребята одних родителей не бывают одинаковыми. Во-первых, этот конь очень горяч, тороплив. Во-вторых, видимо, ему жеребёнком застудили лёгкие. Но он не пугливый. Когда погоним волков, такой смелый конь будет нужен, — кивнул Наман.

— Теперь мне понятно, почему он так потеет. Очень поучительная беседа для меня. Когда-нибудь я специально приеду к тебе, Наман, поговорить о конях.

— Раз ты, Наман, сказал про волков, значит, знаешь, что случилось. Тебе уже известно, по какому делу прибыл Балдыр? — вмешался в разговор Бадма.

— Мне Манджи рассказал. Об этом логове охотники и местные знают давно. И всё было спокойно. Вот уже несколько лет волки не трогали наших животных. Они редко задирают молодых овец. Охотятся на старых, больных и отбившихся от стада. Поэтому мы тех волков и не тревожим. Они как санитары. А тут другое дело. Зачем Бамба убил волчонка? — удивился Наман.

— Якобы его сын страдает почками. Он слышал, что волчья желчь помогает. Вот и застрелил волчонка. А теперь волки мстят. Пока не уничтожим этого волка, он не оставит отару. Председатель очень волнуется. Хотел приехать сам, но его вызвали в улуском, вот он и послал меня, — пояснил Балдыр.

— Правильно, стая теперь и не даст покоя. У них матёрый вожак. Мы зовем его Черноголовый. Мстит. Прежде чем убивать волчонка, надо было сто раз подумать. Трудная задача. Ведь поймать волка — нелёгкое и опасное дело.

— Председатель знает. Он говорит, что, кроме тебя, никто не справится. Надежда только на тебя, Наман. Убытки очень большие. А будут ещё больше.

— Ну, допустим, если мы согласимся на это, то какое будет вознаграждение? — Наман ухмыльнулся. — Потом, нужно минимум две хорошие лошади. Одному человеку из логова их не выгнать!

— Вознаграждение — пять валухов и пять ягнят. На погоню председатель выделяет две лошади.

— Поймать Черноголового исключительно трудно. Он очень хитёр и силен. И местность знает хорошо. Волки, набившие желудок, два-три дня с места не тронутся. Если хотим его поймать, то надо поднимать сейчас, пока он сытый. Иначе нам его не взять, — объяснил Наман.

Он подумал и решил:

— Надо поднимать его завтра, на рассвете. Волчицу убивать нельзя. Волчата маленькие, могут погибнуть. И род их нельзя прерывать. Двух коней, которые будут участвовать в погоне, Балдыр, подготовишь сам. И утром приведёшь ко мне. Будете вместе с Бадмой помогать, — закончил разговор Наман.

— Понятно... Сам подготовлю этого жеребца и яловую кобылу. Она выносливая, сильная. Утром пригоню лошадей на вашу кошару, — сказал Балдыр.

— Когда вы с Бадмой поднимете волков, я погоню их на жеребце. Он смелый. Когда он устанет, вы подгоните мне свежую лошадь. Моя лошадь пойдёт в конце, — завершил Наман и пошёл к кошаре.

Бадма с Манджи напоили оставшихся овец, набрали полные корыта воды и тоже вернулись к кошаре. Теперь до наступления прохлады овцы будут стоять не шевелясь.

За чаем Наман распорядился:

— Двух волкодавов на ночь не кормить. Завтра им будет легче гнать волков. Мою лошадь, Манджи, напоишь и поставишь в стойло. В отаре останется Манджи. Амуля поможет тебе напоить овец. Мы с Бадмой займёмся волками. Не забудьте взять с собой кумыс, разбавленный водой. Утром, перед дорогой, попьём горячего чаю — жажда не будет мучить, — заключил Наман.

Рано утром Балдыр пригнал лошадей. Наман внимательно осмотрел кобылу. Саврасая привлекала внимание широкой грудью, хорошей статью и длинной гривой.

Прославленный на скачках вороной конь Намана резко отличался от этих лошадей своей худобой и большой костлявой головой. Наман велел Балдыру с Бадмой взять с собой свирепых волкодавов. Они — голодные и злые — выгонят волков из логова.

Черноголовый с волчицей звериным нутром чуяли, что их не оставят в покое. Они ожидали преследования. Ведь они нарушили многолетнюю традицию: порезали овец ближайшей кошары. Что поделаешь? Эту традицию нарушили первыми не они, а люди. В ту ночь мать, потерявшая одного из трёх волчат, в страшном отчаянии пошла искать его по следу и запаху. И возле дома чабана Бамбы наткнулась на шкуру убитого волчонка.

Черноголовый страдал вместе с самкой, но всё же старался избежать этой мести. Но волчица — была на грани сумасшествия, безумия, и не подчинилась ему. Опыянная горем, она выла и плакала, глядя на луну. Когтями разрывала землю, где пролилась кровь, и этим давала понять, что её не остановит даже собственная смерть. От злости и бессилия она набрасывалась на Черноголового, вырывая клоками его шерсть. И, совсем обезумев, увлекла его за собой и напала на отару.

Сначала волки были осторожны, но, почуяв запах крови, разъярились и резали овец, не помня ничего. Они пьянели от переполнявшего их чувства яростной мести. Но как бы ни было сильно это отчаяние, Черноголовый помнил об оставшихся в логове волчатах. И, взвалив зарезанную овцу на хребет, потащил её в логово.

Обуянная горем волчица пошла за Черноголовым. Обессиленная, она пролежала целый день в логове, не поднимая головы. Ночью Черноголовый, будто чувствуя, что это их последняя ночь, лизал её и, рыдая по-волчьи, приносил ей нежные куски баранины.

Но волчица отворачивалась от еды, пряча глаза, полные тоски и горечи. Черноголовый, накормив волчат, неусыпно стерёг их всю ночь. Смотрел во тьму

и вспоминал, с каким упорством он впитывал в себя с молоком матери традиции жёлтой степи.

Он вспомнил, как несколько лет назад, не думая о смерти, бился за право быть покровителем и хозяином этой волчицы. И тогда в честном поединке он вышел победителем.

И этой бессмертной силой природы, вырастившей его степи, он залечивал раны от схваток. Увлекая за собой подругу, в скольких охотах-набегах они участвовали! Подчиняясь зову природы, острым чутьём улавливал вместе со степным воздухом запахи любимой волчицы и, забывая чувство страха, рисковал собой.

Черноголовый знал, что неумолимо наступает время последней схватки. Утром он услышал эхо выстрела, топот копыт и лай собак. Вот уже и волчица услышала это. Она насторожилась, шерсть на загривке встала дыбом, заволновалась, чуя беду.

Не дожидаясь приближения собак, Черноголовый с волчицей и волчатами стали уходить по дну оврага. Они знали, что по открытой местности идти опасно. Они бежали лёгкой рысью, не оглядываясь и не сбавляя побежки. Через некоторое время Черноголовый поднялся на пригорок и увидел, что их преследуют две собаки и верховой.

Эх, если бы он был один! Он легко ушёл бы от них. Опытный Черноголовый заметил, что наездник был без винтовки.

Наман скакал на сивом жеребце, не торопя коня. Он знал, что Черноголовый бежит не в полную силу. Волчата малы. Быстро устают.

Главная цель Черноголового — отвлечь внимание от волчицы с волчатами. И всё взять на себя. А там как получится.

Перед расставанием он подбежал к волчатам. Обнюхал их и повернулся к волчице. Её потный запах, сливаясь с ароматом разнотравья, ударил ему в нос и голову и остался в памяти.

Когда волчата стали отставать, Черноголовый, в последний раз лизнув морду волчицы, легко взлетел на холм.

Самка догадывалась, что он уводит от них преследователя. Таков вековечный закон природы. Она повернула в сторону и повела за собой волчат.

Когда Наман преодолел подъём на холм, конь начал обильно потеть. Наман понял, что теперь начинается схватка только с Черноголовым.

На ровном месте Черноголовый пошёл во весь мах. И шёл красиво, будто был рождён для бега. Он стелился над землёй и, казалось, что он течёт среди трав. Волкодав Басыр погнался за волчицей. Ничего, волчица знала, как надо его укротить, когда он приблизится. Басыр тоже помнил, каковы у волчицы зубы, но азарт погони кружил ему голову, пересиливал страх.

У волчицы ещё был запас силы и сноровки. А другой волкодав по кличке Хасыр, уверившись, что с Черноголовым ему не тягаться, начал отставать и вскоре совсем оставил погоню. Волчица, чтобы дать волчатам передышку, замедлила свой бег. Поджидая приближения Басыра, она накапливала силы.

Басыр, не поняв этой хитрости, начал догонять их. И едва изготовился вцепиться в загривок волчицы, как она, резко и неожиданно развернувшись, схватила его за глотку. Перекатываясь вместе с волкодавом по траве, она изо всех сил сжала свои стальные челюсти.

Шея собаки хрустнула, горячая кровь наполнила глотку зверя. Волчица с трудом разжала челюсти. Качаясь, она поплелась за волчатами. Теперь они были в безопасности.

Басыр лежал на земле и истекал кровью. Ему уже никто и ничто не могло помочь.

Черноголовый знал, что опытная волчица доведёт волчат до камышовых зарослей озера Кермен, укроется вместе с ними там. И он уже был готов к последней своей схватке.

Он теперь точно знал, что у его преследователя не было винтовки. Но Черноголовому не дано было знать, какое грозное оружие спрятал Наман в тороке своего седла.

Наман не первый раз ловил волков и тоже понимал, какой это хитрый и сильный зверь. Поэтому он знал, что надо делать и как себя обезопасить.

У него не было корысти нажиться на смерти волка. Просто его попросил председатель колхоза, один их уважаемых мужчин Манычского улуса. Такую просьбу следует уважить. Да он и сам знал, какой урон нанесут землякам разъярённые волки.

Только поэтому он согласился на эту опасную охоту.

Он нащупал в тороке своё оружие. По-калмыцки оно называется — маля, а русские называют его нагайкой. Это грозное оружие охотников.

Её плетут из бычьей кожи, которую вымачивают в солёной молочной сыворотке. После этого кожу высушивают в тени. Для сердцевины нагайки берут гибкую сыромятную кожу. Вырезают двенадцать ремней различной толщины. И вокруг круглой сыромятной сердцевины плетут нагайку. Маля из плетёной кожи получается упругой, гибкой и жёсткой. Чуть толще большого пальца руки. На конец нагайки под кожу вшивают кусок свинца. Мастер плетёт маля несколько дней, вкладывая в её изготовление всё своё мастерство. И это оружие, вобравшее силу духа и мудрость предков, таит в себе огромную силу. Рукоятку делают из сандалового дерева или самшита.

На конце рукоятки просверливают отверстие, куда вдевают прочную ремённую петлю, чтоб цеплять маля на руку. И когда охотник на скаку, используя силу скорости лошади, наносит удар, маля пробивает череп зверя.

Сивый жеребец начал уставать. Черноголовый почувствовал это и замедлил бег. Собрав силы, вильнул в сторону, повернулся и прыгнул на коня. Испуганный конь шарахнулся в сторону. Наман, не ожидавший прыжка волка, чуть не вылетел из седла.

Напуганный конь сразу сник, потерял скорость и стал потеть ещё обильнее. Наман подал знак табунщику. Балдыр тут же подал ему свежую лошадь, которую вёл за собой в поводу.

Заменив коня, охотник продолжил преследовать волка. Кобыла постепенно, но уверенно начала сокращать расстояние между ними. После неожиданного прыжка волка Наману стало понятно, что Черноголовый так просто не распрощается с жизнью. Он ещё померяется силами, он готов нанести удар.

Черноголовый устал, но силы у него ещё оставались, ещё трудно было предугадать, чем может завершиться эта схватка.

Черноголовый знал, что волчица с волчатами теперь далеко. Камышовые заросли их укроют. Он был в этом уверен, и он был спокоен. На нём волчий род не прекратится.

Волчата вырастут, переняв выносливость, живучесть и повадки предков. И под этим солнцем, в этой жёлтой степи найдут своё логово. Они будут жить в согласии с природой, будут хозяевами этого заветного уголка.

Выносливая кобыла впервые участвовала в погоне за волком. Едкий волчий запах был ей непривычен и сильно раздражал. Но она чувствовала твёрдую руку наездника, она подчинялась охотнику и следовала за волком как тень.

Они уже преодолели вёрст двадцать. Черноголовый постепенно терял силы. Лапы кровоточили, начинали гореть... Его мучила жажда. Волк держался из последних сил.

Наман, не сводивший с него глаз, исходил потом, вытирал его на скаку рукавом. Он уже почти настиг зверя. Наступала минута, когда надо пустить в ход нагайку. Наман подал знак Бадме, скакавшему за ним.

Ожидавший сигнала Бадма стегнул своего коня и догнал Намана. Подал ему бортхо с холодным кумысом с водой — чиидмегом. Наман утолил жажду, сменил перед решающей схваткой кобылу на своего большеголового вороного и почувствовал прилив сил.

Проскакать двадцать вёрст на неосёдланном коне — нелёгкое дело даже для опытного наездника. Чувствуешь себя разбитым, тело теряет чувствительность и немеет. На осёдланном скакать гораздо легче. Когда опираешься на стремя, отдыхает тело.

Наман был уверен в себе и в своём коне, привычном к охоте. Вороной шёл спокойно и уверенно. Хорошо понимал действия хозяина. Теперь они уже наверняка не упустят волка.

Черноголовый свернул к балке, где можно было скрыться в зарослях на берегах речушки Хара-Зуха. Только там он мог найти спасение.

Наман знал, если он допустит это, волк уйдёт. Наступали решающие минуты.

Наман взял нагайку в правую руку и, когда конь поравнялся с волком, наклонился всем корпусом и нанёс сокрушительный удар.

Нагайка щёлкнула, как выстрелила. По инерции волк пролетел несколько метров, но тут лапы его подкосились, и он закувыркался по земле.

Конь тоже проскакал вперёд, Наман, натянув поводья, остановил его, успокоил и, повернув назад, подъехал к Черноголовому.

Оглушённый ударом, волк лежал на боку. Живой, он тяжело дышал и смотрел на Намана жёлтыми пронзительными глазами. Охотник увидел в глазах волка не злобу, а боль. И ему стало жалко этого гордого зверя.

Черноголовый не ползал и не скулил, прося пощады. Его взгляд говорил: «Ну, человек, на этом и завершим нашу схватку». Наман спрыгнул с коня, зайдя сзади, стиснул волка коленями, рукоятью нагайки разжал его челюсти. Концом волосяного аркана связал челюсти и сделал петлю на шее волка. И почувствовал огромную усталость. Тяжело сел рядом с Черноголовым.

«Что я делаю? И кому всё это нужно? Кто и кому из нас мешал? — Мысли раздирали его сердце. — Чем мы отличаемся от четвероногих? Кто сильнее, тот и задирает слабого. Тех, кто лучше, ненавидят бездарные, завидуют чёрной завистью и мстят. На небесах вон сколько ярких звёзд. И всем им хватает места. Если вдруг ты завтра споткнёшься, тот, кто завидует тебе, не будет ли гнать тебя, как волка, и напускать на тебя собак? И когда только мы изгоним тех зверей, которые сидят в нас? Тот волк, который сидит в нас, наверняка самый страшный из всех».

Тут подъехали Балдыр с Бадмой и начали разглядывать матёрого зверя. Они хотели сойти с коней, но те от испуга шарахались в сторону.

Наман не спеша утолил жажду, сел на коня и тронулся, зажав конец аркана в стремя.

Волк вначале сопротивлялся, упирался. Когда петля на горле начала затягиваться, невольно пошёл за лошадьё. Бадма, поглядывая на волка, сказал, что волкодав Хасыр убежал на кошару.

— А Басыра загрызла волчица, — хмуро сказал Балдыр, — вцепилась ему в глотку и всю располосовала.

— Надо его похоронить рядом, на пригорке, — распорядился Наман и вздохнул. — Хороший был пёс. Вот что удивительно — смелые, бескорыстные и честные, будь то зверь или человек, погибают в первую очередь.

Жители хотона Бугу уже знали, что Наман поднял волков с логова и погнался за ними. Это событие шумно обсуждалось, все волновались, спорили и ждали, чем закончится.

Особенно переживали старики. Они знали, какая это рискованная охота и какой коварный и жестокий зверь волк. Любопытные мальчишки забрались на крыши домов, на заготовленные на зиму штабели кизяка. Люди разговаривали, спорили, поглядывали на ровную степь и ждали.

Мальчишки закричали с крыши:

— Едут! Возвращаются охотники! Заарканили волка. — Они попрыгали на землю и побежали встречать ловцов.

Из домов стали выходить старики, женщины с малышами на руках. Всем было и любопытно, и страшно глядеть на заарканенного волка. Матери прикрывали глаза малышам, чтобы те не испугались.

Дворовые собаки, с лаем сопровождавшие мальчишек, при виде волка заскулили и с визгом попрятались по домам. Правда, иные дворняжки, сообразив, что волк беспомощен, осмелели и даже пытались наброситься на него.

Наман, не ожидавший такого внимания и шума, засмутился и сказал Балдыру:

— Я тебя умоляю, избавь меня от этой суматохи. Оставляю волка на твоё усмотрение. Куда хочешь, туда и девай его. Управься только быстрее, — попросил он.

— Понятно. Сейчас заведу волка в хлев. И освежую. Шкуру заберу с собой, — кивнул Балдыр.

— Только не на виду у людей. Вот тебе деньги. Дай детям на сладости. Я буду дома. — Наман повернул вороного к своему дому.

Жена его — Булгун, увидев, что приехал муж, разогревала еду, варила калмыцкий чай и ожидала гостей.

Живущий поблизости Матьхир, старейшина хотона Бугу, услышав об удачной охоте, пришёл к дому своего племянника. Он был в бязевой рубашке и шароварах. Редкие белые волосы трепал ветер. Спина прямая, взгляд острый. Разговорчивый, бодрый старик. Прикрыв глаза от солнечных лучей ладонью, он осмотрел коня охотника.

— Вот он — вороной конь Намана, который может бежать целый день, не зная усталости. Голова костлявая, поджарый, ноздри как у сайгака. От волков не шарахается. Слышал, разогревается долго. О! Здравствуй Наман! Поздравляю, вернулся с красными тороками.

— Уважаемый дядя Матьхир, ваши слова справедливы. Я за этим конём ухаживал, когда он был ещё жеребёнком. Специально готовил его к скачкам. Много возился с ним. Зато теперь он мне верный друг. В погоне за волками участвует вот уже третий раз. Я его жалею и берегу. Всегда боюсь, как бы во время скачки по нетронутой степи он не повредил ногу.

Они вошли в дом и сели за стол. Наман никак не мог отделаться от мыслей, что посетили его возле связанного волка. Ему хотелось поделиться ими.

— Я сейчас жалею, дядя Матхир, что уступил просьбе председателя и поймал этого волка. У меня не было желания убивать зверя. Он жил по своим законам. Как-то мне не по себе, — смущённо сказал Наман.

Старик подумал, прищурил глаза и внимательно, с сочувствием посмотрел на племянника.

— Напрасно ты так переживаешь, Наман. Нет большого греха в том, что ты уничтожил этого зверя. Редко кто решится на ловлю волка. Не застрелить его, а поймать. В этом и отражается, передаётся сила духа наших предков. Вот молодые пусть знают, что в нашем хотоне есть настоящий мужчина. Пусть подражают старшим. А род зверя не оборвался на нём, — подбодрил ловца старик.

Добрые слова Матхира успокоили Намана, его терзания отступили.

Вошёл Балдыр, почтительно поздоровался со старейшиной и сообщил Наману, что освежевал волка.

Булгун налила всем чай, подала мясо с лапшой, сушёный творог, сметану. За чаепитием Матхир сказал:

— Я пришёл, чтобы попросить волчью желчь. Очень нужна. — Он вытер платком вспотевший лоб.

— Знаю, — кивнул Наман, — волчья желчь нужна для вашего внука.

— Да, для него. Я не для себя прошу, для внука.

— Если нужно, не жалко, Балдыр, отдай желчь дяде. Вот только зря Бамба украл у волков волчонка. И детёныша убил, и желчи не добыл. Из-за этого они и начали мстить.

— Сегодня волчица загрызла моего волкодава, — вздохнул Балдыр. — Всё думаю о нём. Вот уж был смелый и верный пёс. Трудно найти такую сторожевую. Как же я не уберёг его...

— Не казни себя. Что ты мог сделать? Это охота. И опасная охота. Волчица могла и тебя загрызть. Волк, чувствующий смерть, никого не щадит. А ты, Наман, правильно поступил, что отпустил волчицу. Она поднимет волчат, — заключил Матхир.

— Да, волчицу мы не трогали. И Черноголового я бы не тронул... Но если бы я оставил его в живых, то они с волчицей извели бы всю отару. Без Черноголового волчица не осмелится нападать на стадо. Хорошо, что она теперь ушла в камышовые заросли Кермена. Там устроит себе логово, вырастит волчат, — удовлетворённо сказал Наман.

— Ну, теперь мы поедem на кошару. Колхоз должен премировать меня овцами. Завтра, дядя, возьмите себе овцу, — обрадовал старика племянник.

— Пусть твои уста вещают благо! Будь всегда таким щедрым. Твоё благородство дороже золота. Настоящий мужчина должен быть таким! О таких, как ты, говорят: «В его душе поместится осёдланный Аранзал». Ты же знаешь, что Аранзал — это рыжий конь богатыря Джангара. Ты — как этот богатырь, один из надёжнейших мужчин нашего хотона. Я всегда молюсь за тебя, за твоё здоровье, чтобы ты был примером и опорой для младших братьев, — благословил племянника старейшина.

## Травма

Из Знаменского в Гремячий прискакал на взмыленном коне к Рубцову посыльный со срочным сообщением.

Сын Протасова поехал верхом на прогулку. Внезапно из-под ног лошади выскочил заяц. Конь в испуге шарахнулся, мальчик упал, нога зацепилась за стремя. Испуганный конь проволол его по неровной местности несколько вёрст. Когда мальчика нашли, он был без сознания. Протасов просил Рубцова срочно прислать Джава Дорджиева.

Фёдор Иванович прибежал на конный двор к Джаву.

— Случилось несчастье с сыном Протасова. Мальчик в тяжёлом состоянии. В больнице разводят руками и не знают, как помочь. Джав, возьми Чёмпела и срочно отправляйтесь в Знаменское. Кроме вас, помочь некому. Надо ехать!

Из дома срочно вызвали Чёмпела, отдохавшего после смены. Фёдор Иванович рассказал ему о трагедии.

Внимательно выслушав председателя, Чёмпел покачал головой:

— Каждое мгновение равно жизни. Мы постараемся помочь, приложим все силы. Но... если итог будет печальным... Не станем ли мы, калмыки, козлами отпущения?

— Друг степей, мне твоя осторожность понятна. Если голову теряешь, то нечего плакать о волосах. Нет дорожке друга, сдержавшего слово. Покажите всё, на что вы способны.

— Мы, Фёдор Иванович, уедем на несколько дней. Кто поможет Надвиду? — спросил Джав.

— Загадывать не будем. Всё будет зависеть от обстоятельств. Помощника Надвиду найдём. Не теряйте времени. Всё, что нужно, Протасов вам предоставит.

Джав с Чёмпелом на директорской двуколке отправились в Знаменское. По прибитой дождём дороге пара саврасых шла очень ходко. На мягких рессорах путники не замечали ухабов. Чёмпел, перебирая чётки, углублённо читал мантры. Он понимал, какая ответственность легла на их плечи.

Джав молча курил трубку и погонял лошадей. Саврасые покрылись испариной. Разогрелись, закусив удила, убыстрили бег.

Убаюканным бегом коней потомственным табунщикам казалось, что они скачут по полевой степи и дышат воздухом родного края.

Все мысли Джава были о мальчике, попавшем в беду. Как помочь ребёнку, который ещё не пришёл в сознание? Каковы раны, насколько повреждены важные внутренние органы? Конь протащил его по пням и кочкам.

— Руки-ноги, если они сломаны, придётся обмотать тонкими бараньими кишками. А что если у него повреждено что-то внутри? — спросил он у Чёмпела.

— Дядя Джав, не будем гадать заранее. Приедем — увидим, будем разбираться на месте. В силу своих возможностей я вам помогу. Больше ничего не могу обещать, — сказал Чёмпел.

— А что если кровотечение?

— Если мальчик потерял много крови, врачи помогут.

— Ты сможешь остановить внутреннее кровотечение?

— Остановить можно. И сбить температуру тоже.

«И то хлеб...» — подумал Джав. Он знал, что Чёмпел умеет гипнотизировать. Но поможет ли это?



Неутомимый бег саврасых незаметно съедал расстояние. И вот они уже прибыли в Знаменское.

Протасов, на котором не было лица, встретил их во дворе дома. Вымыв руки, Чёмпел с Джавом вошли в комнату мальчика. Он так и не пришёл в сознание. Стонал. Температурил. Весь пылал.

Джав осторожно ощупал его. Увечья были очень серьёзные. Кости рук и ног раздроблены. Страшно было даже прикасаться.

Нервы Джава напряглись, ему стало трудно дышать. Чёмпел весь отдался сосредоточенному чтению мантр. Протасов хоть и не понимал слов, но чувствовал мощную энергию, исходившую от Чёмпела, по его телу прошла волна, и показалось, что подул лёгкий ветерок.

Осмотрев мальчика, Джав спросил:

— Пётр Николаевич, что сказали врачи, какое назначили лечение? И почему не положили мальчика в больницу?

— Врачи поддерживают Диму уколами. Влили кровь. Но везти в больницу не решились, побоялись, что не довезут.

— Пётр Николаевич, состояние Димы тяжёлое. Переломаны руки и ноги. Не знаю, в каком состоянии внутренние органы. Но дышит он хорошо, сердце, хоть и бьётся часто, но в таком состоянии это бывает. Сделаем всё возможное, что в наших силах. Но... мы — не боги. Если не хватит наших сил, не обвиняйте нас.

— Всё понятно. Врачи тоже так сказали. Какое тут может быть обвинение? Без боязни делайте то, что считаете необходимым.

— Будут нужны бараньи кишки, — коротко сказал Джав.

Протасов вышел и минут через сорок принёс таз, наполненный кишками.

— Налейте мне стопку водки, — попросил Джав.

Вздохнув, он выпил, засучил рукава и вошёл в комнату мальчика.

Джав брал тонкие кишки, очищал их от слизи. И, собравшись с духом, приступил к работе. Мальчик слабо стонал. Теперь пальцы рук стали глазами Джава. Они действовали словно сами по себе, осторожно ощупывали, сжимали, ставили кости на место, стягивали их влажными кишками. Руки двигались точно и уверенно. Джав работал, не прерываясь ни на секунду, рубашка на спине стала влажной, потом ему заливало глаза.

Чёмпел то и дело вытирал полотенцем пот со лба Джава.

Джав боролся за жизнь ребёнка, забыв о времени и усталости.

Ныла спина, онемело тело, сердце колотилось в висках. Во рту пересохло. Наконец, отдавший все силы, изнурённый Джав закончил бинтовать. С трудом разогнулся и, покачиваясь, вышел из комнаты. Вымыл руки, освежил разгорячённое лицо холодной водой. Во дворе закурил трубку и жадно затянулся.

В холодном осеннем небе мерцали звёзды, вдалеке лаяли дворовые собаки. Джав словно впервые осознал: пусть жизнь порой мучительна и тяжела, но как она прекрасна!

Протасов понимал, что Джаву надо отдышаться, прийти в себя. Выждав время, он позвал его в дом.

Жадно выпив несколько чашек чаю, Джав сказал:

— Мне надо вздремнуть. Мальчик должен температурить. Его организм борется. Что делать дальше, знает Чёмпел. Почаще давайте ребёнку пить.

Чёмпел не отходил от метавшегося в бреду Димы. И беспрерывно читал мантры. Клад ладонь на его лоб, и мальчик на некоторое время успокаивался. Мать всё время смачивала сыну губы. На рассвете Дима успокоился и крепко заснул.

Чёмпел вышел во двор, глотнул холодного утреннего воздуха. Он чувствовал себя полностью опустошённым, из него ушла вся энергия. Он понимал, что впереди долгая и трудная борьба за жизнь ребёнка.

Если бы Протасов не видел своими глазами, как Чёмпел и Джав лечили сына, сколько затратили сил, то не поверил бы, что такое возможно.

Можно по-разному относиться к их способу лечения. Но сейчас, отчаявшись, он был готов на всё, лишь бы спасти сына. Готов был молиться, хотя и не был верующим.

Джав сказал, что надо поить мальчика клюквенным и медовым отварами. Родители беспрекословно слушались его.

Наконец, к исходу третьего дня температура понизилась. Мальчик пришёл в сознание. Он обвёл комнату взглядом и удивлённо остановил его на калмыках.

— Дима, эти люди тебя лечат. Ты упал с лошади и разбился, — поспешила объяснить ему Надежда Сергеевна. — Ничего страшного, сынок. Ты скоро выздоровеешь.

— Ма-а-ма, у меня болят руки, ноги, голова, — захныкал мальчик.

— Ты же упал с коня... Конечно, будет болеть, Дима. Потерпи, мужчина должен терпеть. Боль пройдёт, — успокоила его мать.

Но боли продолжались. На помощь приходил Чёмпел, он гладил его руки и ноги и постепенно вводил мальчика в глубокий сон.

Прошло несколько дней, и Джав сказал Протасову:

— Пётр Николаевич, мальчик пришёл в сознание. Кости постепенно должны срастись. Дело времени... Через две недели я приеду. С вами остается Чёмпел. Он поможет Диме справляться с болью. Хороший уход, юный возраст и вера в свои силы — главное лекарство.

Протасову не хотелось отпускать Джава, с ним было спокойнее. Но не исключено, что кто-нибудь напишет донос, мол, Протасов отрывает двух рабочих совхоза от работы. Делать нечего, надо ехать.

Чёмпел пошёл провожать Джава до окраины райцентра. Перед расставанием он спросил:

— Дядя, что скажете о мальчике? Какие ваши предположения?

— Мне кажется, что от края пропасти он сделал один шаг в этот мир. А дальше будем надеяться на судьбу и на Всевышнего. Сейчас главное, Чёмпел, твои сеансы и мантры. Надеюсь, они помогут.

— Я буду стараться из всех сил, — пообещал Чёмпел. — На кон поставлена наша честь. И великая вера наших предков. Отступать мы не имеем права. До последнего не будем терять надежду. Передавайте всем привет, и счастливого пути.

Он спрыгнул с телеги и, найдя уединённое место в придорожном перелеске, долго молился покровителю и божеству этой местности, чтобы они дали мальчику силы и веру встать на ноги.

Когда нормализовалась температура, Надежда Сергеевна спросила у Чёмпела, чем нужно кормить Диму.

— На мой взгляд, ему полезны уха, икра, овсяная каша, настой шиповника, клюквы, мёд. И ещё, Надежда Сергеевна, мой вам совет: держите при себе, а лучше вообще отбросьте ваши печали и слёзы. Лучший бальзам для Димы — ваше хорошее настроение, светлая улыбка, шутки, забота и внимание.

После того как Дима пришёл в сознание и появилась надежда на его выздоровление, родители воспряли духом. Стали замечать время суток, различать вкус еды.

Джав ехал в Гремячий и после напряжения последних дней отдыхал душой и телом, будто вырвался из плена на свободу. Вдыхал свежий воздух, настоящий в сосновом бору. И хоть он уже почти привык к лесу, но его душа, все его помыслы были связаны с родной степью. Это она, её народ, дали ему силы, научили бороться с болезнями, переносить жизненные невзгоды.

И ещё он думал о Диме. Теперь судьба мальчика соединилась с его, словно их связали вместе и затянули тугим калмыцким узлом.

«Кости срастутся... А в каком состоянии внутренние органы? Что с его головой? Хватит ли сил у Чёмпела всё выдержать? — волновался он. — Хорошо, что со мной был Чёмпел, это для меня огромная поддержка. Простому смертному, человеку непосвящённому, не понять, в чём заключается его талант, невероятная энергия, божественный дар, сила его духа. Одно его присутствие укрепляет больного. Это — загадка природы. Всё это передать словами невозможно. Когда он читает мантру, чувствуешь небесную энергию. Хоть и не видишь глазами, но всё равно что-то ощущаешь. То, что рядом с нами находится человек с таким талантом, — это неоценимое богатство».

Мирно покуривая трубку, Джав целиком погрузился в свои думы. Вдруг он услышал далёкое ржание коня. Что за конь? Если судить по ржанию, похоже, это жеребец Рубцова, Вожак. Почему он здесь?

Джав привстал, чтобы посмотреть на дорогу.

Вскоре из-за поворота показался жеребец, запряжённый в двуколку, в которой сидел Рубцов.

Джав остановил лошадей. Он хорошо знал норы Вожака, тот спокойно стоять не будет, начнёт волноваться, насакивать на его саврасых. Соскочив с телеги, Джав пошёл навстречу.

Рубцов поздоровался и тут же нетерпеливо спросил:

— Как дела, Джав? Мальчик жив?

— Жив, жив. Уже пришёл в сознание. Узнаёт родителей, а что с ним произошло, не помнит. С ним остался Чёмпел. Я своё дело сделал.

— Жив? Мальчик жив! Большого счастья не может быть, Джав! — воскликнул Рубцов и радостно приобнял Джава.

Эхо его радостного возгласа гулко разнеслось по тайге. Жеребец удивлённо покосился, чуткими ушами улавливая эхо, заволновался, стал переступать с ноги на ногу и заржал.

— Очень хорошая весть! — сказал Рубцов, успокаиваясь. Его глаза и лицо светились от радости. — Я в Знаменское еду, не выдержал неизвестности, да и дела там есть.

Джав рассказал, как они лечили мальчика, что он думает о дальнейшем его восстановлении. Особо поблагодарил Чёмпела.

Рубцов внимательно выслушал, покивал и заулыбался:

— Ну, Джав Эрднеевич, как поступали ваши предки с человеком, принёсшим хорошую весть?

— По нашему обычаю такому человеку смазывали маслом уста! — засмеялся Джав.

— Хорошая традиция! Вот если бы были рюмки, можно было бы и вспрыснуть за ваш успех. И что теперь делать? — спросил Рубцов и посмотрел на Джава.

— Если понадобится, Фёдор Иванович, то не рюмка, а чашка найдётся.

— Откуда? Как вы найдёте её в тайге! — удивился Рубцов.

— Найдём, — улыбнулся Джав.

Из торока, лежавшего на двуколке, он вытащил кожаный мешочек и, вынув деревянную чашку, вручил её Рубцову.

— Вот это да-а! Калмыки, вы меня с каждым днём всё больше удивляете! — протянул Рубцов, с интересом рассматривая чашку. — Она что, из дерева?

— Наши предки, Фёдор Иванович, пользовались деревянной посудой. Где бы калмык ни находился, чашка всегда за пазухой.

— Впервые вижу калмыцкую чашку. Ну, Джав Эрдниевич, в честь вас, принёсшего такую радостную весть! — Рубцов ударил по дну бутылки ладонью и вышиб пробку.

— Мы, Фёдор Иванович, первые капли любого напитка отдаём небу, земле и очагу.

— Очень интересный ритуал. Впервые слышу.

— А первый тост предоставляем старикам, — объяснил Джав.

— Ну, если так... Первый тост предоставляю тебе, — сказал Рубцов, налил водки в чашку и протянул её Джаву.

— Фёдор Иванович, когда едут по важному делу и первым встречается по дороге мужчина, это считается хорошей приметой. Раз так, то пусть Дима выздоравливает на радость родителям, родным и друзьям. — Джав побрызгал водкой вокруг себя и потом выпил.

— Да будет так!

Рубцов налил себе, подумал и сказал:

— Ох, как я переживал и волновался за Диму! Как подумаю, что он лежит без сознания, весь переломанный, так сердце обливается кровью. Твоя добрая весть меня обрадовала. Пусть Дима выздоравливает быстрее! — Он поднял чашку.

— Да будет так! — повторил Джав и закурил трубку. — Фёдор Иванович, как там наши поживают. Здоров ли мой внук?

— Надвид управляет с лошадьми. Помощника ему дали. Внук ваш здоров. С родителями и бабушкой копает картошку, — засмеялся Рубцов.

— В том, что Мёнктур жив-здоров, есть и ваша заслуга, Фёдор Иванович! — сказал Джав и с признательностью посмотрел на директора.

— Всё в этой жизни изменчиво, — вздохнул Рубцов. — Как мы все зависимы друг от друга, осознаёшь только со временем.

— Чтобы это понять, Фёдор Иванович, нужна голова. А то у некоторых вместо головы торчит кочан капусты, — засмеялся Джав.

Довольные друг другом, они попрощались и разъехались.

## *Игра*

У Бадмы Нимеева хорошие новости: он получил письмо из Сибири от брата Чёмпела. Долго и внимательно читал его, и оно согрело душу. Он радовался, что брат строит себе дом и собирается жениться. Это приятное и важное известие. Поговорив со своей женой Кооккой, они решили собрать друзей и родственников, чтобы отпраздновать это. Не теряя времени, Коока начала гнать из квашеного молока арьяна калмыцкую водку — араку.

В этом деле без помощи соседей не обойтись. Каждая хозяйка принесла ей по ведру арьяна, и большой котёл наполнился. В многочисленных хлопотах ей помогали сваха Джиргал Кекеева, Баира Эвгеева, Амуля и Булгун.

Начало лета — хорошее время года для степняков. Овцы окотились, и получен богатый приплод. Молочных продуктов вдоволь. Можно, хоть и ненадолго, отдохнуть.

Когда всё было готово, Бадма Нимеев созвал гостей на чай. Пришли: сват Мазан Кекеев с двумя сыновьями, Наман Эвгеев, братья Кондышевы Басан и Бамба, Манджи Балжиров и председатель колхоза Шуурга.

Аромат баранины, сваренной на печи во дворе, и булмага, приготовленного в казане, дразнили обоняние и пробуждали аппетит. Три сына Бадмы встречали приехавших, отводили коней к привязи, усаживали гостей и прикуривали им трубки.

Сыновья Бадмы знали, что несколько лет назад их семью не сослали в Сибирь. Знали и кому они этим обязаны. Дядя Чёмпел стал для них кумиром, примером для подражания. Они гордились им и были ему благодарны.

Старший сын Бадмы — Бокта — заканчивал школу. Учился он хорошо, занимался как комсомолец с неграмотными женщинами, учил их читать. Парень он был не только смыслённый, но вдобавок ловкий и сильный. Собирался поступать в военное училище. Остальные братья ещё ходили в школу.

Председатель колхоза, поджарый, разговорчивый мужчина, расспрашивал Балдыра и Намана, заарканившего волка, об охоте.

Наман скупко рассказывал, как он загонял хищника. Басан Кондышев, покуривая трубку в серебряной оправе, посмотрел на брата и сказал:

— Мужики, если хотите знать подробности, спросите у Бамбы. Он опытный охотник, — и засмеялся.

Бамба покраснел до кончиков ушей.

— Если бы вас не выручил Наман, Черноголовый перерезал бы полстада. Наман храбрец, не испугался, умело волка заарканил. А как вёл себя твой конь? — спросил сват Мазан Кекеев.

— Конь сильный, смелый, не испугался, но Черноголовый чуть не убил его. Был момент, когда Черноголовый прыгнул на коня. Перед этим он замедлил бег, набирался сил. И когда мы приблизились к нему, он прыгнул и пытался вцепиться в горло коню. Но, к счастью, промахнулся. А прыгнул бы удачнее, вырвал бы кусок мяса. Пропал бы конь.

Коока с дочерью поставили на широкий дощатый стол поднос с большими кусками варёного мяса, борщики, чай. Бокта открыл бортхо, sprysнул аракой еду, затем налил араки отцу и наполнил чашки старейшин и гостей.

— Дорогие братья! На днях мы получили письмо от нашего брата с хорошими вестями и решили поделиться с вами радостью. Мой брат Чёмпел строит себе дом. Осенью хочет сыграть в новом доме свадьбу. Невеста русская, работает на ферме. Сватать ездили Джав, Намджил, Надвид, Болха и Мёнктур. Познакомились с родителями, братьями, получили согласие. И перед вами, братьями, хочу сказать честно: вы дороги мне, потому что были солнцем в дни печали, когда нас одолевала беда, вы придавали мне сил, были защитниками и верными друзьями. Я молюсь, чтобы вашими покровителями были Зункава, души ваших предков и духи земли родной. Я пью за ваше здоровье, братья!

— То, что Чёмпел, мужчина нашего хотона, строит в Сибири дом, очень хорошая весть! Это знак того, что он там пользуется уважением. Ещё большая радость — что он женится. Мы все знаем, что он образован, умён, талантлив, хотя и моложе нас. Такие люди — редкость. И нельзя не помочь человеку, который высоко поднял честь наших предков. Я от своего имени дарю ему трёхлетнего холощёного бычка, — сказал председатель колхоза.

— Как говорится, рога отрастают позже ушей, но превосходят их, — усмехнулся Наман. — Чёмпел показал на деле, каким должен быть настоящий мужчина. Бадма, твои переживания и заботы нам понятны. В том, что Чёмпел попал в Сибирь, твоей вины нет. Твои сыновья должны брать с него пример. Я дарю двух бычков.

— Вы, мужики, знаете, что Чёмпел и Надвид дружны, как братья. Чёмпел всегда был моему зятю Надвиду надёжной опорой и верным другом. Помогал ему делом и советом в трудную минуту. Когда в Сибири заболел мой внук Мёнктур, Чёмпел выпросил у директора совхоза овцу и не дал умереть малышу от истощения. В прошлом году сын начальника тамошней районной милиции упал с коня и был при смерти. Врачи даже не взяли его в больницу. Джав с Чёмпелом лечили мальчика и поставили его на ноги. А теперь Чёмпел строит дом и хочет жениться! Как такого человека не уважать? Мы все знаем, что Чёмпел не прост. Сейчас, понятное дело, он не может соблюдать обет монаха. И он правильно поступает, что женится, — поделился мыслями Мазан Кекеев, тесть Надвида.

— Построить дом — нешуточное дело. Как Чёмпел собирается его строить? Ведь он не плотник, — засомневался Лиджи, брат Болхи.

— Оказывается, отец и братья невесты — мастеровые люди. Лес на строительство дома выделил совхоз. Чёмпел с Надвидом уже привезли брёвна из тайги. Теперь ошкуривают их и сушат. Совет сыграть свадьбу в новом доме дал директор совхоза и всячески им помогает, — пояснил Бадма.

Разговор продолжил Манджи Балжиров:

— Я, мужики, всё время повторяю Бадме — не переживай так сильно за брата. Чёмпел не из тех, кто опускает руки. Когда говорю Бадме, что, мол, из-за твоих слёз Бычье озеро вышло из берегов, он колотит меня. Из-за этих побоев я наверняка умру раньше времени.

Все засмеялись. Мужики стали шутить:

— Собака, зализывая раны, вылечивается.

— Я дарю Чёмпелу яловую нетель. Продайте, а деньги вышлите ему почтой, — добавил Манджи.

Братья Кондышевы веселились с однохотонцами, отдыхая от повседневных забот, шутили, смеялись, узнавали новости. И оба подарили по годовалому бычку.

Посоветовавшись, решили — скот, подаренный Чёмпелу, продать в Сталинграде, а вырученные деньги отослать ему в Сибирь.

Бадма Нимеев в который раз убедился, что человек силен помощью. Мудрый обычай предков помогает калмыкам и сегодня. Если бы не однохотонцы, многодетный Бадма не смог бы оказать Чёмпелу существенную помощь. Теперь он был поистине окрылён.

Слова, высказанные уважаемыми людьми хотона о Чёмпеле, послужили сыновьям Бадмы наглядным уроком. Они поняли, что их дядя вовсе не враг народа, что он настоящий человек. Что он, находясь в Сибири, помогает людям.

Семь голов скота, подаренные односельчанами, Наман Эвгеев вместе с Бадмой погнали по степи в Сталинград. Путь предстоял неблизкий, в Сталинград они рассчитывали прибыть через трое суток. С собой взяли продукты, воду. Сев верхом на лошадей, тронулись в дорогу.

Шли не медленно, но и не быстро, скот надо было беречь, чтобы не выглядел изнурённым.

Времени на отдых они почти не тратили. Умылись, освежились, напоили скот, перекусили сами — и снова в путь. Иначе полудикие, оторванные от стада животные

могли разбежаться по степи. Продавать скот очень нелёгкое дело. Притом целых семь голов сразу.

Бадма впервые ехал в большой город и очень волновался. Наман сносно разговаривал по-русски и бывал в Сталинграде раньше. Он тоже волновался, но виду не подавал.

— Наман, ты уже был в Сталинграде. Город ведь большой... Как мы будем продавать там скот? Ума не приложу. Ты же знаешь, что я плохо владею русским. Найдётся ли покупатель, который купит скот оптом. И где мы будем держать скотину, если с продажей дело затянется?

— Бадма, оптовые покупатели найдутся быстро, это не вопрос. Но они покупают за полцены, а потом продают вдвое дороже. Надо искать возможность сдать скот оптом в столовую или ресторан. Сталинградцы знают качество мраморного мяса из Калмыкии и охотно покупают его у нас. Но... У людей на руках сейчас мало денег. Ты же знаешь, что совсем недавно, с января, отменили карточки. С торговлей стало свободнее, но денег у людей не прибавилось.

Уже под Сталинградом Бадма обменял одного телёнка на два мешка муки. По тем временам это считалось богатством. Новый урожай ещё не созрел, и в Калмыкии с хлебом было трудно.

С продажей остального скота сначала дело не заладилось, и Бадма, оглушённый шумом большого города, приуныл. Но в конце концов расторопный Наман нашёл человека, который купил скот оптом для ресторана. И цену дал неплохую. Бадма с Наманом были рады, что избавились от строптивых животных.

Только теперь они почувствовали, как устали. Ещё бы, им пришлось вынести четыре дня почти без сна, отдыха и нормальной еды. Получив деньги, они тут же зашли на почту и отправили их на адрес Чёмпела в Омскую область. После этого решили отметить в ресторане удачную продажу и пообедать по-человечески.

Несмотря на все трудности, испытанные ими в дороге, и серьёзные хлопоты с продажей скота они были довольны. Ради брата, отправившегося вместо него в сибирскую ссылку, Бадма был готов пожертвовать собой. Он был счастлив, что сумел помочь Чёмпелу.

Наман от чистого сердца поехал с Бадмой, чтобы помочь ему сделать доброе дело. Без него Бадма не справился бы. К тому же Наман давно не был в Сталинграде, и ему было интересно взглянуть, как там теперь текла жизнь. Он радовался, что завёл новые знакомства среди оптовиков и получил представление, что теперь почём. Узнал, за сколько и где можно выгодно продать скот.

Купив провизию и питьё в дорогу, навьючив по мешку муки на лошадей, они тронулись в обратный путь. Заночевать решили в Малых Дербетах у знакомых Намана.

Домой лошади шли ходко, разогрелись и покрылись потом. Было жарко. К вечеру подул прохладный ветер, и стало легче. К полуночи подъехали к ставке Малых Дербет. У знакомых наскоро попили чаю и улеглись спать.

Хозяин дома, Баатр Нохаев, знал, что Наман опытный картёжник. Сам Баатр был азартным игроком. Когда гости заснули, он отправился к своим приятелям-картёжникам и рассказал, что мужики из Манычского улуса продали в Сталинграде скот и едут домой. Кто откажется от такого улова? От такого улова нельзя отказываться. Надо втянуть Намана в игру.

Проснувшись на рассвете, Наман с Бадмой проверили лошадей и сели пить чай.

В это время в дом вошли четверо мужиков. Баатр, пивший чай, сказал:

— Наман, сегодня мы собрались играть в карты. Если у тебя есть желание и деньги, ты тоже можешь попытаться счастье.

— Баатр, мы в дальней дороге по срочному делу. Играть в карты не сможем. Спешим, — отказался Наман.

Бледный мужик с впалыми щеками, прищутив глаз, усмехнулся и обратился к друзьям:

— Чтобы играть в карты, во-первых, надо соображать. Во-вторых, иметь деньги. У мужика из Манычского улуса, по всей видимости, нет ни того, ни другого. — Дружки захохотали и начали перемигиваться.

Наман промолчал, лишь с ухмылкой прищурился.

— Если судить по твоему виду, брат, то ты такой богатый, что потерял счёт табунам, а деньги для тебя — что конский навоз. Это видно по твоему длинному, как у дятла, носу. А что такой умной головы во всём Манычском улусе не сыскать, видно по твоему гладкому лбу.

Мужики снова загоготали.

Наман снова смолчал, но глаза его хищно заблестели, а лицо побагровело.

Бледный мужик понял, что перегнул палку, почесал в затылке и подал руку Наману.

— Ладно... Извини меня, я пошутил. Будем знакомы — Чонаев Мекля.

— Твоим языком хоть сливки взбивать на воде, — процедил Наман. — Значит, ты из семей Ульдючинского рода. А я Эвгеев Наман, конь которого бежит целый день без усталости.

— После такого знакомства ты, Наман, должен играть, — сказал Баатр и, не мешкая, постелил на пол ковёр для игроков.

Наман вышел на крыльцо, поманив за собой Бадму.

— Бадма, ради чести рода я должен играть. Напой лошадей и присматривай за ними. Я проверю, какие они игроки. Может, мне и повезёт. — И пошёл в дом.

Хозяин дома распечатал колоду. Шестеро мужчин начали игру. Очень тяжело играть в карты с незнакомцами, не зная ни их характера, ни их приёмов, ни того, сколько у них денег. Всё это Наману предстояло разузнать по ходу игры.

Если судить по позе и словам мужика, который сидел напротив Намана, чувствовалось, что это человек с достатком, неглуп, надменен, хитёр. Взгляд острый и холодный как лёд. Его звали Дандар.

Толстяк, сидевший справа от Намана, видимо, болел туберкулёзом. Он кашлял, хрипел, то и дело плевал в платок. От него неприятно пахло. Он беспрекословно выполнял приказы Дандара, и видно было, что он труслив и льстив.

Среди всех выделялся своим решительным характером смуглый мужчина, обветренный, как дуб, с жёсткими руками табунщика. Горячий, а взгляд мягкий, умный. Но денег у него было немного. Он уклонялся от ставки. Наман не запомнил его имени.

У Баатра — хозяина дома — азарт был велик, но тощ карман. К тому же не было у него мастерства и опыта картёжной игры. Мекля Чонаев, хоть и бойкий на язык, но денег у него было мало. Многодетный отец, забот — полон рот. Поэтому он осторожничал. Выигрыш в сорок-пятьдесят рублей для него как подарок судьбы.

Но и Наман тоже на рожон не лез. Приглядываясь к соперникам, готовился к долгой игре. То, что стояло с начала игры на кону, они с Дандаром выбрали за два захода. Первым из игры вышел Мекля. Довольный хотя бы тем, что вышел без проигрыша. Своей заслугой он считал то, что втянул в игру Намана. А теперь собирался посмотреть, как Дандар будет сдирать шкуру с пришельца. При хорошем выигрыше и ему крохи достанутся. Поэтому он тёрся возле Дандара. А кашляющий



толстяк, к которому шла хорошая карта, большие ставки не делал. Его задача в этой игре была помогать Дандару. Их хитрость потихоньку стала проясняться. Они, как хищные стервятники, растаскивали ставки Намана. А добывать будет Дандар. Наман понимал, что расслабляться ему нельзя.

Смуглый табунщик, не заискивая перед Дандаром, рискнул и выиграл. Это не понравилось Дандару, он пронзил его холодным взглядом. Потом сделал ставку, видимо, у него была хорошая карта. Вот и не устоял, рискнул на полсотни и проиграл.

Наман внимательно следил за картами. Вроде всё складывалось в его пользу, и он решил сделать ставку. На кону двести рублей. Наман пошёл на всю сумму. У Дандара, раздававшего карты, дрогнули руки. И хотя он был опытный игрок, но тут ему изменили нервы — он побагровел, тяжело задыхался. Наман оставался спокоен. Посмотрев карты, он остановился на шестнадцати очках — если возьмёт ещё карту, будет перебор.

— Бери карту, — кивнул Наман.

Дандар взял карту — у него семнадцать очей... он растерялся. Раскрывать карты не рещался. И, увидев улыбку Намана, рассерчал. Решил брать. Взял — семёрка! И швырнул карты.

Наман раскрыл свои карты — шестнадцать очей! Дандар аж подскочил, — выигрыш ушёл из рук! Но ничего не поделаешь. Ставку надо отдавать. Дандар еле сдерживал себя. Был бы перед ним другой человек, он бы устроил скандал. Но он уже понял, что Намана так запросто не испугать.

После этого круга вспотевший толстяк вышел из игры. Табунщик и Баатр продолжили игру. Дандар решил держаться до последнего. Мекля прикурил ему трубку, принёс воды — утолить жажду. Всячески угождал Дандару.

Теперь Дандар стал понимать, что Наман не только опытный игрок, но и хорошо анализирует, терпелив и силён физически. После следующих двух кругов из игры вышли Баатр с табунщиком. На кону — четыреста рублей.

Бадма вошёл в дом и сел поодаль, наблюдая за игрой.

Теперь метал банк Наман. Дандар выставил своё предложение: разделить ставку на двоих и закончить игру. Наман с трубкой в зубах в упор посмотрел на Дандара, улыбнулся и сказал:

— Выкладывай наличные. И продолжим. А если нет, то деньги, которые на кону, мои!

Мужики замерли. Слышно было, как пролетела муха. У Дандара от напряжения вздулись жилы на лбу и шее. Он прищурил глаза. Как быть?! Отступить — стыдно. Продолжать — денег жалко. Но соблазн велик. Чья возьмёт, ещё неизвестно.

Выложив деньги, Дандар взял карты. Успокоился. И с важным видом откинулся назад.

После двух карт у Намана — семнадцать очей. А у Дандара наверняка не меньше восемнадцати, — размышлял Наман. Не возьмёшь ещё карту, он выигрывает. Нужны дама или король. Дама или король!

— Ну, ваше величество, дама! — произнёс он про себя. Перевернул карту и... дама!

У Намана — двадцать очей. У Дандара — девятнадцать.

Дандар с трудом встал и, пошатываясь, вышел из дому.

Удивлённый и восхищённый игрой, табунщик подошёл к Наману.

— Силён, мужик! Впервые встречаю такого картёжника! — И пожал ему руку.

— Ну, мужики, не обижайтесь... Дорога дальняя, мы спешим! Баатр, от нашего имени угости ребят, — сказал Наман и оставил на столе сто рублей. Малодербетовцы, проводив гостей, долго восхищались в тот вечер игрой Намана.

Только Дандар злился на Баатра, пригласившего его к себе на игру.

— С кем ты меня свёл? Такой убыток мне нанёс! — злобно бурчал он.

— Ты, Дандар, должен благодарить меня за то, что я познакомил тебя с таким игроком, — смеялся в ответ Баатр.

С наступлением вечерней прохлады отдохнувшие лошади без устали бежали по степи и только фыркали в темноте.

После отъезда из Малых Дербет мужики решили срезать дорогу и поехали напрямик, ориентируясь по звёздам. Бадма догнал уехавшего вперёд Намана и спросил:

— Наман, как тебе показалась игра? Есть ли игроки равные тебе?

Убаюканный бегом иноходца, задремавший в седле Наман встрепенулся.

— Дандар неплохо играет, — ответил он. — Но слишком заносчив. Кроме себя, никого не признаёт. Горяч и очень жаден. — Он придержал коня и набил трубку. — А ты, Бадма, с кем встречался, какие новости слышал? О чём говорят люди? Я же сидел взаперти.

— Люди рады, что отменили карточки. Теперь можно продать скот и что-то купить в городе. Я познакомился с тем табунщиком. Общительный оказался мужик. Откровенно сказал: «Хотели раздеть твоего спутника. И сами чуть без штанов не остались». Он прямо расхохотался после этих слов.

— Ты видел, в каком настроении ушёл Дандар?

— Он еле сдерживал себя. Хотел поскандалить, да повода не было.

— Если откровенно, Бадма, у меня не было никакого желания играть с ними. Ты видел, как они меня допекли, поддразнивая. В том, что они проиграли, нет моей вины.

— Баатр, хозяин дома очень доволен тобой. Ты щедро оставил сто рублей. Он не только накормит свою семью, но и мужиков угостит.

— На это я и рассчитывал. Надо не только о своём желудке печься, но и делиться с другими, — сказал Наман и пустил коня иноходью.

Проскакав всю ночь без остановки, Наман с Бадмой подъехали на рассвете к Элисте.

Возле двух ветряных мельниц на западной окраине жил дорожный мастер Санджи Сарангов. Вот к нему они и направились. Сложив в сених его саманного дома поклажу, они решили дать отдых лошадям. Да и самим надо было подкрепиться.

Расседлали лошадей, надели им на ноги путы и отпустили пастись. Сами зашли в столовую попить чаю. Потом заглянули в столичный магазин и, купив подарки друзьям и родственникам, поспешили домой. После полудня они подъехали к хотону Бугу.

## Лесник

Чёмпел и семья Дорджиевых прожили в Сибири уже три года, с тех пор, как в 1933 году в соседний Тевризский район Омской области сотрудники ОГПУ привезли на барже двести семей кулаков. Среди них было три семьи калмыков.

Однажды Чёмпел с Надвидом поехали в городок Тевриз — надо было присмотреть для конного двора лошадей в тамошнем колхозе. Табун в Гремячем требовал пополнения.

В Тевризе они встретились с земляком — Батой Гаряевым. Раньше знакомы они не были, но на чужбине каждый земляк становится роднёй. Тем более что у них нашлись общие знакомые в степи, откуда они были насильственно изгнаны.

Чёмпел с Надвидом рассказали о себе и выслушали историю семьи Баты.

Бата Гаряев пострадал незаслуженно, потому что он уже сдал весь свой скот и числился членом колхоза. В собственности у него остались лишь лошадь, две коровы и восемь овец.

Человек он был прямой и честный. Не умел сдерживаться. Спорил с начальством, доказывал свою правоту. За это его оклеветали и сослали в Сибирь.

Дело было так. В 1932 году секретарь райкома привёз в колхоз на отчётно-выборное собрание очередного нового председателя, его в колхозе не знали. Председателей по рекомендации райкома меняли чуть не каждый год, а толку от этого не было. Чужаки, они и оставались чужаками, не радели за общее дело.

Бата выступил на собрании с критикой начальства, резко отклонил кандидатуру нового председателя и назвал имя человека, которого знали и уважали все колхозники.

— Вот кто должен возглавить колхоз, а не человек со стороны, — сказал он.

В райкоме решили проучить бунтаря. Чего доброго, он и людей взбаламутит. Стали собирать на него компромат. Вспомнили, что он был богатым. Что его дядя был ламой хурула. Значит, — он враг советской власти. Бату исключили из колхоза. Улан-Хольский улуском партии вынес решение: «Имущество Гаряева конфисковать. Его как кулака выслать за пределы Калмыкии».

Перед ссылкой в Сибирь Бату Гаряева продержали несколько месяцев в астраханской тюрьме.

Его жена Балта с детьми жила тогда в Улан-Холе. Милиционер, приехавший выселять семью Гаряева, не разрешил ей забрать двух дочерей, которые в это время были у родственников в другом селе.

Балту с двумя сыновьями привезли в Астрахань, чтобы с другими семьями отправить поездом в Сибирь. Перед отправкой освободили из тюрьмы и Бату. Ради детей Балта решила выжить во что бы то ни стало. Умереть, не увидев дочерей, она не имела права.

— В маленьком селе Рудном, куда нас привезли, — рассказывал Бата, — невозможно было ни разместить, ни обеспечить работой такое количество ссыльных. И эти двести семей перевезли на подводах в тайгу — обживать новое место. И в этих нечеловеческих условиях они начали кое-как обустроиваться.

— Что делать... — вздохнул Бата. — Жить-то надо.

Местные жители вместе с приезжими стали прорубать через тайгу двенадцатикилометровую просеку до реки Таимтаит. Стволами мостили дорогу через болота. Все, кто мог держать пилу и топор, работали на лесоповале. Валили сосны, лиственницы, кедры и складывали в штабеля. Потом вязали плоты и сплавляли в Омск по рекам Таимтаит, Туй и Иртыш.

Другой работы не было. Если не хочешь умереть с голоду, вали в тайге лес. Выполнишь норму — получишь восемьсот граммов хлеба. На иждивенца — двести.

Вначале построили бараки, контору, конюшни, школу, детский сад. Семейные стали рыть себе землянки. Бата со старшим сыном Элистой тоже выкопали. Всё-таки своя крыша над головой. Поставили печь-буржуйку, благо дров вокруг вдоволь.

Балта работала на лесоповале вместе с мужем, чтобы тоже получать паёк.

— Вот ты рассказал мне, как твой сын чуть не умер от истощения, — сказал Бата, обращаясь к Надвиду. — Хорошо, что тебе тогда помогли и ты спас сына. У меня была

похожая история. Все мы тогда жили впроголодь, а нашему маленькому Тагиру было особенно тяжело...

Работая в тайге, отец с матерью оставляли из своего пайка по осьмушке хлеба, чтобы вечером накормить трёхлетнего малыша. Эти кусочки были ценою в жизнь.

Бата Гаряев был хорошим охотником и рыбаком. Он мог бы без труда прокормить семью рыбалкой и охотой. Но было нечем. Кулаку не положено держать ружьё.

Его оружием были руки, пила и топор. Балта узнавала у местных о съедобных травах и грибах. Сбирала их в тайге. К ним добавляла горсть проса или муки и готовила затируху.

Голодный Тагир ходил в садик. Утром детям давали похлёбку и по кусочку хлеба. Тагир мигом выпивал похлёбку из чашки и хватывал хлеб у соседних малышей.

Рёв, крики, скандал. Бедного мальчика выдворили из садика. Мать вынуждена была оставаться дома. Бригадир ругал Балту, называл симулянткой.

Первая сибирская зима была адски трудной. Без картошки и овощей. Кругом тайга, и чтобы приготовить землю под огород, надо было спилить деревья, выкорчевать пни, вырубить кустарник. Если бы не помощь родных из Калмыкии, они бы не выжили. Нимгир Гаряев, родной брат Бату, работал в колхозе Улан-Хольского улуса главным бухгалтером. Он отправлял им в посылках топлёное масло, сало, кирпичный чай. Если бы сотрудники ОГПУ узнали, что Нимгир поддерживает связь с братом-кулаком, то могли бы выслать и его.

Какое жестокое время! Чтобы помочь родным, приходилось рисковать собственной жизнью.

Валить лес — тяжёлая работа. Нормы высокие, а сил нет.

Бата посмотрел на жену. Балта сильно похудела. Запали глаза, выпирали скулы, потому что она съедала только половину своего пайка, остальное отдавая трёхлетнему сыну.

— Балта, на такой работе ты долго на полпайка не протянешь. Если совсем потеряешь силы, что мне делать?

— Почему я не съедаю весь паёк, ты хорошо знаешь. Когда я прихожу домой, голодный ребёнок просит есть. Бата, он тает с каждым днём, — сказала жена, глотая слёзы.

«Было бы ружьё, можно было бы пойти на сохатого. Недалеко отсюда дом лесника. К стогам, которые стоят возле дома, подходят лоси», — размышлял Бата. Что делать? Умрёт сын, мать не вынесет горя. Зачем мне жить без них? Где выход? Как смириться с голодной смертью сына? Чтобы прокормиться, нужно ружьё. Ружьё есть у лесника. А как его взять?»

Он решил пойти к леснику. Закончив работу, убрал пилу и топор.

— Балта, иди домой. Я пойду к леснику. Может, он и поможет. Никому ничего не говори. Завтра встретимся здесь. Я заночую в сторожке.

В промокших валенках Балта поплелась домой. Запах хлеба, лежавшего у неё за пазухой, не давал покоя, дурманил. Не выдержав, она села на пень, вынула кусок. И увидела голодные глаза сына. «Мамочка, дай хлеба!» — молили они. Вздвогнув, она, стора от стыда, сунула за пазуху хлеб и побежала дальше. И больше не останавливалась до самого дома.

Бата, идя к леснику, очень волновался. Его терзали сомнения. Как разговаривать с совершенно незнакомым человеком? Как донести до него свою беду и просьбу? Пусть покровительствуют мне Небо, боги и духи предков моих. Так он молился

про себя и торопливо шагал, не обращая внимания на усталость, на свои промокшие ноги. Когда речь идёт о жизни сына, ноги могут потерпеть.

К дому лесника он подошёл уже на закате. Из трубы валил дым, значит, хозяин дома, обрадовался Бата.

«Сейчас надо успокоиться и собраться с мыслями. Что ты скажешь? И как начнёшь разговор? Думай... Прояви себя. Жизнь твоего сына в его руках. Ом мани падме хум, — прочитал он мантру. — Нельзя выглядеть попрошайкой. Веди себя достойно. Объясни свою нужду... Собаки не видно. Значит, она в доме», — подумал и, решившись, постучался.

Бата вошёл в дом и представился:

— Я Горяев Бата Баерхаевич, пришёл к вам по делу. — Пожал леснику руку и посмотрел ему в глаза.

— Павлов Владимир Евдокимович, — несколько удивлённо сказал лесник и, внимательно посмотрев на Бату, усмехнулся и погладил густую бороду.

«Если глаза — зеркало души, то, видать, он человек бесхитростный и добрый», — заключил Бата.

«Что за человек? На зека не похож. Зек имя-отчество не называет. Что за дело? Что у него на уме? Может, он с ножом? Надо быть осторожнее», — подумал лесник и поставил на стол чайник.

— Садитесь пить чай. — Он подвинул миску с картошкой, нарезал хлеба.

Бата посмотрел по стенам — ружья не видно. Значит, оно где-то в чулане.

Голодный Бата не заставил просить себя дважды, снял фуфайку, сел за стол и, вытирая рукавом пот, быстро управился с картошкой и хлебом.

Павлов, потягивая самокрутку, кивнул на стоявшие у порога сапоги.

— Если не спешите, то снимите мокрые валенки и переобуйтесь.

Бата снял валенки с портянками и поставил их на просушку.

— Закуривайте, — предложил лесник, подавая кисет.

— Владимир Евдокимович, я табак кладу за щёку.

— Вы, калмыки, кладёте табак за щёку?

— Некоторые кладут. Другие курят трубку. Богатые курят папиросы. А как вы узнали, что я калмык?

— По облику, — усмехнулся лесник.

Он затаился и вопросительно посмотрел на Бату.

Бата посидел молча, потом заговорил:

— Владимир Евдокимович! Вы моя последняя надежда. Мой маленький сын умирает от голода. Только вы можете его спасти. Я сам — охотник. Мне нужно ружьё, чтобы спасти сына. Я как кулак не имею права на оружие. Дайте мне ружьё!

— Зачем тебе ружьё?

— В тайге много зверей: медведи, лоси, волки. Если умрёт сын, жена тоже умрёт от горя. Владимир Евдокимович! Зачем мне жить без них! — И Бата упал к ногам лесника.

— Бата, что ты делаешь? Встань! — Павлов поднял его.

Собака, лежавшая у порога, вскочила, готовая броситься на Бату.

— Султан, лежать! — крикнул Павлов.

— Мне нужно всего два патрона! Дадите или нет? — отчаянно взмолился Бата.

Павлову стало понятно: человек в крайнем отчаянии, может натворить бог знает что.

— Бата, успокойся! Дам я тебе и ружьё, и патроны! Садись! — Лесник силой усадил Бату на лавку.

— Больше мне ничего не надо!

Бата сел и схватился за голову. По его лицу тёк холодный пот. Руки и ноги тряслись. Павлов понял, что он успокаивается.

Он понимал калмыка.

«Если бы моя дочь умирала, то неизвестно, как бы я поступил, — думал Павлов. — Как я могу допустить, чтобы у калмыка умер сын? Но что мне делать? Если дать ему в руки ружьё, он завалит первого попавшегося зверя. А стельную лосиху и самца убивать нельзя. Надо отдать ему молодого лося. Да, дела... Если милиция узнает, что калмык раздобыл лосятины, быть беде... Ладно, скажу, что лосёнка задрали волки».

— Бата, так и быть — отдам тебе молодого лося. За ночь мы должны управиться. Но чтобы ни одна душа об этом не знала! Если всё-таки что-то заподозрят, скажешь, что это мясо лося, задранного волками. Ты его нашёл в тайге. Понял? — Он строго взглянул на Бату.

Павлов достал двустволку, зарядил. Надо было идти, пока окончательно не стемнело.

Они осторожно подкрались к стогам, притаились на опушке в гуще невысоких ёлок. Три лося кормились сеном. Павлов мягко шагнул вперёд, медленно поднял ружьё и выстрелил в молодого самца.

При свете фонаря они торопливо освежали тушу. Топором разрубили на мелкие части. Мясо сложили в мешок. Голову и внутренности завернули в шкуру и спустили под лёд реки Туй. И той же ночью на санях Павлов отвёз мясо к землянке Горяевых.

В ту глухую тёмную ночь Балта накормила голодных сыновей. Маленькому Тагиру она строго-настрога наказала, чтобы никому не проговорился про мясо.

Утром Горяевы пошли на работу.

Мысль о том, что сыночек не умрёт от голода, придала им силы. Балта спросила, как же он сумел договориться с Павловым.

— Знаешь, от жуткого волнения я в какой-то момент стал невменяемым. Павлов понял моё состояние, успокоил. Другой на его месте мог бы натравить на меня собаку. Видать, душевный он человек, повидал жизнь.

— Он, наверно, семейный. Есть ли у него дети? Где они живут?

— На расспросы у меня и времени не было. Думаю, что он человек семейный. Поэтому и проникся ко мне сочувствием. Иначе и разговаривать бы не стал. Кто я такой...

— Бата, нам надо молиться, чтобы никто не узнал, что он помог нам. То, что наш сын встанет на ноги, это заслуга Павлова. Для матери нет дороже человека, принявшего участие в судьбе её ребёнка, — со слезами проговорила Балта.

И каждый раз, когда молилась, она поминала Павлова и желала ему долгих лет жизни. Больше ей нечем было отблагодарить его.

Всю жизнь потом Балта говорила сыну, кому он обязан жизнью. И память о его доброте не могли стереть никакие жизненные невзгоды.

Лосятина спасла их от смерти. Пока было мясо, Балта приберегла немного хлеба и засушила сухарей. Сэкономила просо и муку. Эти припасы помогли, когда отец со старшим сыном начали расчищать землю для огорода.

Бата привёз несколько мешков картошки из ближайшего села, чтобы посадить на своём участке. Старший сын Элиста, подросток, был опорой отцу.

Работа тяжёлая — пилить деревья, корчевать пни, вырубать кустарник, вскапывать целину. Балта старалась кормить своих работников посытнее. Они успели подготовить огород и посадили картошку. Для хорошего урожая Балта в каждую лунку сыпала золу. Огород обнесли плетнём, чтобы кабаны не уничтожили урожай.

Горяевы мучительно думали, как им отблагодарить Павлова. Им было совестно не отблагодарить человека, сделавшего им столько добра. Но на подарок не было денег. Одна надежда на сына, который искусно вырезал фигурки из дерева.

— Элиста, нам надо отблагодарить Павлова. Ты, сынок, постарайся, сделай для него подарок.

Элиста решил вырезать из берёзы верблюда. Несколько дней он готовил материал, обдумывал, какая будет фигурка, а потом взялся за работу. Вырезал по вечерам при свете коптилки.

Через месяц Элиста показал поделку родителям.

На высоком кургане стоял верблюд, обзревая степь. Длинная грива развевалась на ветру. Два высоких горба возвышались как паруса. Скульптура получилась на редкость удачной. В магазине такую не купишь.

В конце рабочего дня Бата с женой пошли к леснику. Султан, увидев их, залаял. Павлов чинил сети. Он поздоровался с гостями, усадил их под навесом. Закурил, угостил табаком Бату, поинтересовался здоровьем мальчика.

Потом вынес из дома самовар, налил воды. Балта стала возиться с самоваром. Бата помогал Павлову чинить сети.

— Я, Владимир, тогда даже не расспросил тебя о семье. Чувствую себя неловко, — извинился Бата.

— На то была причина, Бата. Не надо себя корить. Когда умирает человек, не до расспросов. Если бы я тогда не помог — вот это был бы укор. Матушка моя жива-здорова. Жена — врач. У нас дочь. Сам я по образованию агроном. Но вот приходится работать здесь...

— Мы, Владимир Евдокимович, пришли отблагодарить вас и сказать спасибо за сына, — сказала Балта. — Теперь наш сынок не умрёт. Травка пошла, рыбачим удочкой.

Балта вынула подарок из сумки и подала мужу.

— Этого верблюда мы дарим тебе, Владимир, — Бата протянул фигурку Павлову. — Это животное хорошо переносит и жажду, и голод. Твою помощь наши дети не забудут вовек. Мы желаем счастья тебе и твоей семье. Пусть ваш парус судьбы преодолет все жизненные бури.

— Какая тонкая работа! Спасибо за такой замечательный подарок! У вас талантливый сын. — Лесник с интересом разглядывал искусно вырезанную фигурку.

— Владимир, я каждый день молюсь за вас и прошу у Бога здоровья для вас и долголетия! — Сложив руки, Балта упала к его ногам.

— Балта, что вы делаете? Встаньте! — смущённый Павлов поднял её за руки. — Сейчас мы будем пить чай. Вы же пришли после работы?

— Спасибо тебе, что не выгнал меня тогда. Откуда ты знаешь калмыков? — спросил Бата, садясь к столу.

— Мой отец был белым офицером и в гражданскую войну сражался с вашим Окой Городовиковым. Тогда он знал многих воинов-калмыков. Отец погиб в бою молодым. Я знаю, что вас сослали сюда как кулаков.

— Жизнь, Владимир, интересна и загадочна. А порой пугает. Вот мне непонятно, как дети одной страны стали врагами. И кто мне объяснит это?! У калмыков есть пословица: блуждал, блуждал и нашёл своего сородича. Как я тебя. Выходит, в прошлой жизни мы с тобой были людьми одного рода. — Бата улыбнулся.

— О большем счастье нельзя и мечтать, Бата... Сейчас очень трудно определить, кто друг, а кто враг, — усмехнулся Павлов.

Они поняли друг друга. Бата обнял Павлова и не смог удержать слёз.

— Ты, Бата, говорил, что ты охотник. Рыбачить приходилось?

— Владимир, я сын рыбака. Отец родился и вырос на Каспии.

— Если так, то я дарю тебе рыболовную сеть. Иначе до нового урожая Балте будет трудно прокормить своих мужиков.

— Очень верно, Владимир Евдокимович! Вы угадали мои мысли. Сети прокормят нас, — засмеялась она.

— Моя жена, Владимир, как та сорока. Что на уме, то и на языке. Спасибо! Была бы сеть, рыбак прокормится.

Сеть, подаренная лесником Павловым, служила Горяевым всё лето. Осенью картошка, посаженная на целине, дала отменный урожай. Запаса хватило на всю зиму. Ещё они отложили часть картофеля на семена, чтобы посадить весной.

— Да, мир не без добрых людей, — вздохнул Надвид. — Нам тоже помогали простые русские люди. Иначе мы пропали бы.

— А как вы сейчас живёте? — спросил Чёмпел.

— Всё более-менее в порядке. Несколько лет жили в землянке. А сейчас колхоз помог построить дом, — улыбнулся Бата. — Балта накопила денег и купила, наконец, долгожданную корову. Теперь пьём калмыцкий чай, забелённый молоком. Балта довольна. Она холит Марту, каждый раз приносит ей круто посоленную корочку хлеба. И корова спешит домой, как только услышит её голос.

Каждое утро Балта даёт Тагиру кружку парного молочка. Он у нас совсем слабый был, рахитом болел, а теперь поправился, окреп.

Я раньше ругал жену, что она не давала мне потратить лишнюю копейку, всё копила на корову. А теперь понял, что молоко — лучшее лекарство. Когда пьёшь чай с молоком да с маслом, — и хлеба не надо, — засмеялся он.

Чёмпел с Надвидом возвращались домой и думали о судьбе своего земляка. Хорошо, что он уцелел и семью сохранил. А сколько людей погибло: и калмыки, и русские, и люди других национальностей...

И за что их осудили? Почему объявили врагами народа?

Ответа на эти вопросы они не находили.



*Александр Орлов*

## Взросленья чёткие отметки

\* \* \*

Свеча, держись, от ветра не потухни,  
Ты согреваешь мир в бессчётный раз.  
Никто не вспомнит второпях о нас,  
Тьма ледяная в комнатах и кухне.

Здесь жили и молчали обо всём,  
Но наши бабки были дальнозорки:  
Засушивать нас приучали корки  
И запасаться шерстяным бельём.

Из пыльных окон улица видна,  
Там жизнь давно другая и природа,  
И не понять, какое время года,  
Но Бог один и Родина одна.

И до сих пор дверные косяки  
Хранят взросленья чёткие отметки,  
И день, и час, когда, заплакав, предки  
Нам поднимали в путь воротники.

\* \* \*

*Тамаре Фёдоровне Востриковой,  
моей бабушке*

Не избежать ошибок и потерь,  
И никогда не стать уже другим.  
Все наши разговоры завершим —  
Ты небо вместо платяца примерь.

---

*Орлов Александр Владимирович* — поэт. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И.П.Павлова, Литинститут им. А.М.Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории в школе. Автор восьми книг стихов и трёх книг малой прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.

Оно большое, больше, чем душа.  
Теперь ты всё узнаешь обо мне,  
И вечности уже принадлежа,  
Ко мне приходишь изредка во сне.

Тебя увижу в предрассветный час,  
И только взгляды мы соединим,  
Как день касаньем световым одним  
Вновь оборвёт о будущем рассказ.

По небу разбросаеть ты следы,  
И я за ними устремляюсь ввысь,  
Чтобы сбылись мои мечты,  
Скорее напоследок оглянись...

\* \* \*

Распятые ветхое в оконной белой раме  
Напоминает: будет и ответ.  
Я написал в церковной телеграмме  
И отослал в небесный Назарет

О драках, пьянках, женщинах и смерти,  
Что я разбойник, мот и словоблуд  
И что ко мне захаживали черти,  
Впотьмах искавшие в душе приют.

Я жил как жил, и проходили годы,  
Но я мечтал об участи иной,  
В которой сумасшествие свободы  
С презрением отверг антигерой.

Я грешный раб, слуга, всё жду ответа,  
И отзываются вослед колокола.  
И верится, что возродился где-то  
Рождённый двадцать первого числа.

*Евфросиния Капустина*

## Люди, которых нет на карте

«Я хочу, чтобы читатели знали, что в XXI веке до сих пор есть места, где люди голодают или не могут получить медицинскую помощь. Ведь когда знаешь о проблеме, можешь на неё повлиять».

*Из блога Евфросинии Капустиной*

### *Гватемала, деревня Чуинахтахуюб*

Между столицей страны и нашей деревенской клиникой километров 210. Из Гватемала-сити мне нужно было доехать до Момостенанго, а оттуда уже на флитере<sup>1</sup> — до клиники. Я и поехала. Только не в Момостенанго, а в Тотоникапан. Заподозрила неладное, когда обратила внимание на дорожное полотно: четырёхполосное, с идеальным асфальтом и разметкой. Водитель утверждал, что автобус идёт в Момостенанго, пассажиры отрицательно качали головами.

Вышла в Тотоникапане, пересела в другой автобус. Этот уже точно шёл до Момоса. Я смотрела на дорожные ответвления, срывающиеся вниз с горы, и молилась, чтобы нам не надо было сворачивать на один из них. Но оказалось, что надо. В какой-то момент я перестала бояться и вспомнила, что так и не покатаюсь на аттракционе «Русские горки» — вот и довелось. Я улыбнулась.

В Момосе нужно было позвонить водителю флитеры, но у меня не было местного номера. Разговорились с девушкой, которая помогла вынести вещи из автобуса. Её зовут Америка. Проходит десять минут, и я уже сижу в её кафе, звоню водителю с её телефона, а она делает мне фруктовый смузи со льдом и проводит урок — как быстро различать номиналы бумажных и металлических кетцалей<sup>2</sup>.

---

*Капустина Евфросиния Игоревна* родилась в 1997 году в городе Ялуторовске Тюменской области, окончила Санкт-Петербургский институт культуры (факультет искусств, кафедра кино и фотоискусства). Поэт, прозаик, переводчик сербской поэзии. Автор поэтического сборника «Проблески света» (Санкт-Петербург, 2016). Победитель конкурса «Новые голоса — 2017», международного фестиваля «Всемирный день поэзии — 2018», финалистка премии «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге. С апреля по ноябрь 2023 года работала волонтером в медицинских клиниках международной благотворительной организации Health & Help («Здоровье и помощь»): фотографировала быт и записывала истории жителей труднодоступных деревень Гватемалы и Никарагуа, деревень, которые не отмечены на картах и официально не существуют для мира.

<sup>1</sup> Флитера — общественный транспорт, курсирующий между гватемальскими деревнями и представляющий собой грузовики на больших колесах, с открытым кузовом и арочными поручнями над ним.

<sup>2</sup> Кетцаль — денежная единица Гватемалы.

Приезжает Сальвадор на флитере — машине с высокими колёсами для горных дорог и открытым кузовом для перевозки всего вместе: грузов, животных и людей. Загружаюсь. Флитера несёт меня сквозь плотную пыль — дорога прорублена в горных склонах и осыпается нещадно. Примерно через час я уже в клинике.

Первый рабочий день. Снимала четырёхлетнего мальчика. Что-то простудное и у него, и у матери: температура, болит голова, болит горло. Показал мне сопли. Показал автобус и поезд на своей футболке. Объяснил, в чём разница. Сказал, что предпочитает автобус, потому что до поезда далеко ехать. Рассказал, что не играет в футбол, потому что ему можно гулять только возле дома, а там траншея с водой, и он очень устал в неё падать и звать на помощь.

Спросила, хочет ли он посмотреть снимок. Посмотрел.

— Тебе нравится фото?

— Мне ты нравишься. — И обнял.

Написала мужу в Россию об этом эпизоде. Встревожился, что меня уведут такие вот мальчики. Хохотал.

Второй моей пациенткой оказалась новорожденная девочка. Ей всего восемь дней. У неё нет имени — здесь имя младенцу дают в месячном возрасте. Её мать на вопрос о будущем имени отвечает: «Думаю, что она умрёт».

От их дома до клиники — десять часов пути пешком и на разных флитерах, потому что денег на другой транспорт нет. У девочки есть девятилетний брат — кроваво-красные глаза и шkodная улыбка, — ради которого они и пришли к врачам. Уже три месяца его мучает сильнейший дерматит, но на позднем сроке беременности у матери не было сил пешком вести его на приём, собралась только теперь, родив.

Они должны прийти на повторный приём через несколько дней. Я надеюсь узнать, какое всё-таки будет имя у девочки. Надеюсь, что оно будет.

Приём начинается в 8:00 каждый будний день. В 7:59 медсестра Мириам открывает дверь и раздаёт пациентам номерки. Последний в очереди получил четырнадцатый номер. Многие пациенты приезжают в промежутке между 5:50 и 6:30 — почти за два часа до начала приёма. Часто потому, что их подвозят до клиники родственники или соседи, едущие на работу. У кого нет машины и денег на такси, приходят пешком. Почти каждый на мои расспросы о расстоянии говорит, что пройти десять-двадцать километров в одну сторону — это нормально и несложно. На днях явился мужчина, жаловавшийся на плохое самочувствие. Выяснилось, что он прошёл с утра около тридцати километров, в какой-то момент ему стало нехорошо, поэтому он выпил энергетика и пошёл дальше.

Если на начало приёма в очереди было четырнадцать человек, то потом подошли ещё, и ещё — после обеда, а потом я сбилась со счёта, уточнила у врачей: за день в клинике побывало двадцать три пациента.

Стоит ли это всего того, что приходится делать команде ради продолжения работы клиники здесь? Даже если пациентов пришло бы всего трое, я не считала бы себя вправе сказать нет. А когда их столько — ответ очевиден.

Разговорились с ожидавшей своей очереди сеньорой Эверильдой. У её мужа диабет, вот уже десять лет. Он тут у многих, но пока никто не смог мне ответить на вопрос — почему. Сеньора первая, кто попытался.

— Думаю, потому что мы ничего не делали для своего здоровья, когда были молоды. Просто жили, работали. А сейчас, когда нам уже за семьдесят, стали что-то делать, но помогает ненадолго. — Рассказывает про свою свекровь. Та не дождала до столетия трёх месяцев — редчайший случай для Гватемалы. Сеньора Эверильда несколько раз восхищённо повторяет: — Очень крепкая женщина была, очень крепкая. — Замолкает на несколько минут, трогает меня за руку и добавляет: — А мы не крепкие, совсем не крепкие. Поэтому нам и нужна помощь.

Прошу разрешения сделать фото. Она снимает тёплую кофту, под которой оказывается расшитая в традиционных для нашего департамента Тотоникапан алых оттенках блуза:

— На фотографии нужно быть одетой красиво.

Сегодня одна пациентка спросила, не страшно ли мне тут, в чужой гватемальской деревне. Почему-то вспомнились картинки из того, что со мной было в моей прежней жизни. Тазик с водой, в которой моешь сначала чашки, потом тарелки, а уж напоследок кастрюли — как самые грязные; школьный автобус, до которого идёшь три километра, а он не приезжает, потому что мотор замёрз при минус тридцати двух; «скорая», которая если за полтора часа на бабушкин приступ доедет, так это чудо чудное; первая питерская работа онлайн — «нужно просто переписываться с людьми, которые имеют трудности в общении», — работа, оказавшаяся вебкамом; общежитие железнодорожников, в котором девочка-одноруппница порезала ночью вены на ногах, другая оторвала унитаз от основания во время рвоты, а незнакомый мальчик из другой группы прыгнул с моего двенадцатого этажа; четыре дня до стипендии, прожитые на тридцать восемь рублей...

Пациентка, не дождавись моего ответа, переспросила — страшно ли?

Нет, мне не страшно. Мне уже очень мало что страшно.

Донна Эсмеральда — хозяйка местного магазинчика, через дорогу от клиники. Четыре панели металлочерепицы для стен, один для крыши — и вот он, собственный магазин в гватемальской деревне. Стены изнутри плотно занавешены плёнкой и кусками ткани, чтобы песок с дороги не заносило сквозь щели. В этом магазинчике можно купить масеку — кукурузную муку для тортилий; соль — грязноватую, сбившуюся в комочки, более известковую, чем солёную; консервированную пасту из чёрной фасоли — скорее сладкую, нежели бобовую, оставляющую угольную шероховатость на языке; туалетную бумагу — но это редко, если повезёт; цветной мармелад в целлофановых пакетиках, чипсы, газированную воду — это 90% ассортимента. Трижды в день в магазинчике не протолкнуться — во время перемен его заполняют школьники, которые за 1—3 кетцала (10—30 рублей) сметают эти цветастые кулёчки и бутылочки.

Иногда Эсмеральда за шторкой печёт тортильи с фасолевой пастой и бананами — для пациентов, которые часами сидят в очереди у нашей клиники. Это единственное место в деревне, где они могут что-то поесть. И это единственное место в деревне, где она может заработать немного денег, чтобы купить ребёнку школьные принадлежности.

Донна Глория — наша соседка. Её дом — в ста шагах от клиники. Пробегая мимо наших ворот, она всякий раз улыбается, кивает и частенько заносит нам угощения: то тамали, то банановое мороженое, то тортильи. Всё это она готовит у себя дома, но не для семьи, а на продажу. Складывает в тележку и развозит заказчикам: в школу и в алькальдию (что-то вроде местной деревенской администрации). А иногда она заходит к нам с серьёзным лицом — как пациентка. Жалуется на боль в обеих руках от ежедневного вымешивания килограммов теста и на расстройство желудка. Получает от врачей необходимые для лечения мазь и таблетки.

На днях после работы заглянула к ней в гости. Кухонька размером два на четыре метра завалена посудой с остатками теста и начинок. Две комнаты: одна для донны Глории с супругом, другая для двоих сынишек. Весь дом пропах плесенью и жухлыми кукурузными листьями. Единственный источник света, он же вентиляция — прорезь в стене, под самым потолком.

Я сказала, что хочу сделать фото. Один мальчик радостно притащил из кухни пластиковый стул с проломанным сиденьем. Второй заорал, убежал в соседнюю

комнату и зарылся в одеяло. Донна Глория сказала, что нужно навести порядок. Нагнулась, подняла что-то с пола и долго не могла разогнуться. Я сказала, что не стоит беспокоиться, и так нормально. Мне больше нечего было сказать этой очень красивой и очень усталой женщине.

Совершенно восхитительная часть волонтерства — это безопасность. Не физическая, конечно, а психологическая. Сейчас поясню. Это когда ты можешь спросить у коллеги за завтраком: «А к какой религии ты принадлежишь?» — и не будет хихиканья, не будет возмущения и разочарованного протяжного «нууу, всё с тобой понятно». А будет часовая дискуссия. И продолжение её после работы. И будут мнения, схожие с твоим, и мнения, не схожие с твоим, но высказанные с уважением и интересом. И так это невероятно — до мурашек.

Да, вне волонтерства такое тоже встречается. Но реже. Да, внутри волонтерства тоже не всегда и не всё так. Есть темы, которых даже рядом с этими прекрасными людьми мне страшно касаться. Но всё же мне думается, что волонтерство — очень правильное направление для поиска *своих*. Тех, рядом с кем не страшно.

Марии сорок восемь лет. Она не училась в школе ни одного дня, не умеет читать и писать. Родила троих детей. Один умер в трёхмесячном возрасте, двое выросли. Ещё два ребёнка не родились — выкидыши. Она плела корзины, её муж продавал их. А потом он привёл в дом другую женщину, и Марии с детьми пришлось уйти. Радует, что дочь быстро взяли замуж и ей почти не пришлось жить на улице. Радует, что они с сыном почти достроили дом. День и ночь строили, потому что жить под плёночным навесом — холодно. Радует, что смогла дойти до клиники. Пришлось выйти в пять утра, к десяти дошла. Здесь у неё выявили диабет, положили под капельницу.

Я спросила, насколько такая ситуация типична для Гватемалы. Мария не поняла вопроса. Я перефразировала: случалось ли такое с другими женщинами, её знакомыми? Она помолчала и ответила:

— Я ничего не знаю про других. Я только знаю, что это очень тяжёлая жизнь для меня. — И заснула.

Это одна из самых тяжёлых пока историй для меня лично. Обработывая снимки и расшифровывая испанские ответы Марии, вспоминала свою мать. Они почти одного возраста, и у них до жути близкие судьбы. Не предполагала, что в далёкой Гватемале буду вспоминать это. Задышалась. Выходила продышаться под звёздное небо. Долго искала, но не смогла найти на небе привычный «медвежий» ковшик. Но отвлеклась от истории пациентки и своей тоже, стало легче.

Побывали в гостях у двух самых зажиточных семей нашей деревни.

Адольфо — в прошлом состоял в алькальдии, сейчас владелец дома, который сдаёт приезжим. Собственная семья Адольфо из шести человек живёт в обычном для местных доме: каменные сырые стены, земляной утрамбованный пол. Дверь на улицу — кусок плёнки. У младшей дочке Адольфо нет никакой другой обуви, только одна пара — для школы. Зато есть портфель с розовой принцессой, есть драная плюшевая змея и собственная собака с огромными мятыми ушами по кличке Майя.

Мама Адольфо много смотрит на нас и много улыбается. Она в свои восемьдесят четыре почти не говорит на испанском, только на киче<sup>1</sup>. Невестка переводит ей важное из разговора.

---

<sup>1</sup> Язык народа киче, принадлежащий к майяской языковой семье. Распространён в центре Гватемальского нагорья.

---

**«МЫ ТУТ ЕСТЬ, А ПРО НАС НИКТО НЕ ЗНАЕТ».**  
**Дети Гватемалы и Никарагуа**  
*Фото Евфросинии Капустиной*



«Я хочу думать, что, рассказывая об этих людях, помогаю благотворительной организации получить больше ресурсов. Есть примеры, когда мне пишут: “Я сделал пожертвование, чтобы там купили аппарат УЗИ, медикаменты, тест-полоски для глюкозы...”, и тогда я понимаю: то, что я просто разговариваю, снимаю и рассказываю — это не зря», — так в одном из интервью определила смысл своей волонтерской деятельности Евфросиния Капустина.



















*Василий Голованов*

## Эпоха рок-н-ролла

### *Утри нот (I)*

*Василию Соловьёву*

«Открыли... что молодость и творческая пора нашей культуры прошли, что наступили её старость и сумерки; и этим обстоятельством, которое вдруг все почувствовали, а многие резко сформулировали, люди стали объяснять множество устрашающих знамений времени: унылую механизацию жизни, глубокий упадок нравственности, безверие народов, фальшь искусства. Зазвучала, как в одной чудесной китайской сказке, “музыка гибели”, долгогремящий органнй бас, раздавалась она десятки лет, разложением входила в школы, журналы, академии, тоской и душевной болезнью — в большинство художников и обличителей современности, которых ещё стоило принимать всерьез, бушевала диким и дилетантским перепроизводством во всех искусствах...»

Дружище! Может быть, самым неожиданным образом эта цитата из Гессе (или другая, из позднего Блока) поможет нам определиться с тем, о чем, собственно, ведем мы речь. Ведь ты говоришь — и значит, желаешь быть услышанным. И книга твоя<sup>1</sup> — тоже отголосок споров, событий и последствий, начало имеющих далеко за пределами наших дней и даже нашего века. Блок констатирует «крушение гуманизма» в 1919 году, странным, на первый взгляд, образом ссылаясь на глухоту, «немузыкальность» современной ему европейской культуры, оставленность её «духом музыки». Мы доверяем безусловному слуху Блока-поэта, но в том, что он пишет, вольны подозревать своего рода поэтическую метафору.

Блока понять непросто; особенно его главную мысль, с прекрасной ясностью и акцентуацией выраженную, — о том, что между «цивилизацией» и духом музыки идет борьба, и нигде эта борьба не принимала столь жестоких и извращенных форм, как в Европе... Но то, о чем ведем мы речь, непросто для понимания вообще; я и сам не пойму, есть ли это призыв к смирению или призыв к мятежу, которые в равной степени

---

*Голованов Василий Ярославович* (1960—2021) — прозаик, публицист. Публикации в «ДН»: «Остров» (№ 5—6, 1997), «Стрелок и Беглец» (№ 6, 1998), «Три опыта прочтения "Фелицы"» (№ 4, 2006), «Кровавая чаша. Персидский поход Разина» (№ 11, 2007), «Эпоха Антропоцена» (№ 10—11, 2009), «Бикапо» (№ 1, 2011), «Восхождение в Согратль» (№ 2, 2012; № 4, 2012; № 8, 2014), «Дочки-матери» (№ 7, 2015).

<sup>1</sup> *В.Соловьёв-Спаский*. «Всадники без головы», СПб, «Скифия», 2003.

суть вместилища духа музыки. Но, во всяком случае, в моих словах звучит глубочайшее презрение к современности, когда дух музыки вновь оставил нас... Понимаешь ли ты меня? Я надеюсь, что по крайней мере несколько человек ещё должны меня понять. Музыка умерла — несмотря на то, что «музыка» звучит 24 часа в сутки на разных каналах ТВ и радио, в каждом баре, магазине, в каждом поезде и даже в репродукторах, развешенных в тихих парковых уголках... В городах сотни тысяч людей ходят в наушниках, неустанно промывая себе мозги набором мелодий, отобранных по собственному предпочтению или подсказанных мобильником, — но замечал ли ты, что у них неподвижные, *каменные* лица, музыка не пьянит их, и их глаза не выражают ничего — ни радости, ни любви, ни даже ненависти и окаянщины, которой переполнены песни одной из последних культовых групп, Nirvana. И вполне может статься, что Курт Кобейн так надрывно воет из глубины своей сучьей смерти именно потому, что знает: обращается к глухим...

Кажется, ситуация требует прояснения. Что это за «дух музыки», о котором я говорю? Мы имеем дело с чем-то весьма приблизительно поддающимся словесному определению, и я нисколько не сомневаюсь, что всё, что нам удастся сказать, будет лишь намеком на разгадку. Но этот намек ощущал и Ницше, когда, подступаясь к «рождению трагедии», вслушивался в звуки неведомой ему музыки Эллады. Его чувствовал Хосе-Ортега-и-Гассет, когда, пытаясь осмыслить *кризис культуры* в Musicalia, опять-таки начинает говорить о музыке: ибо ничто так полно, как музыка, не выражает дух эпохи — даже и в том случае, если, по видимости, противится ему. Статья испанского философа написана в 1921 году, но (сегодня, во всяком случае) кажется, что он предвидел весьма отдаленные горизонты, за которыми поднималась волна рок-н-ролла: «Если можно сказать, что [современное] искусство спасает человека, то только в том смысле, что спасает его от серьезной жизни и пробуждает в нем мальчишество. Символом искусства опять становится волшебная флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса».

Флейта Пана, заметь. Нам еще повстречается она, так же как и Jumpin' At The Woodside<sup>1</sup>, от которых совсем недалеко до взрывчатых аккордов Jumpin' Jack Flash<sup>2</sup>, одной из тех вещей, которыми была озвучена эпоха рок-н-ролла.

Нам повезло с тобою: мы пережили время, когда в музыке сфокусировалось всё: вопрос «зачем жить?» и ответ — как; сама музыка была новым языком, новой религией, новым бытием; казалось, ею возвещено начало новой эры. На Западе эпоха рок-н-ролла пришлась на 60-е — середину 70-х годов и сопровождалась массовыми социальными движениями, бунтами, интенсивными религиозными и психоделическими поисками и, наконец, крушением старой Америки — солидного государства сталинского типа.

У нас всё случилось со сдвигом ровно в десять лет и дало примерно те же результаты: «отзвучавшая цивилизация» (Блок), несмотря на все находящиеся в её распоряжении средства пропаганды, технику, право, не смогла ничего противопоставить «духу музыки», внезапно вырвавшегося на свободу через некоторое количество людей, которых можно всех счесть по пальцам...

<sup>1</sup> «Прыжки на лесной опушке» — джазовая композиция Каунта Бейси, написанная в конце 30-х годов XX века.

<sup>2</sup> «Вспышка (огня) Джек-Попрыгун» — название вещи «Роллинг Стоунз», написанной в 1968 году. Jumpin' Jack — это один из видов огней, используемых в фейерверках. Главный герой, появляющийся перед публикой подобно вспышке этого огня, торжествует победу над силами тьмы и смерти, которые довели над ним до тех пор.



«...Музыка эта — дикий хор, нестройный вопль для цивилизованного слуха. Она почти невыносима для многих из нас, и сейчас далеко не покажется смешным, если она для многих из нас и смертельна», — писал Блок в 1919 году. Каким слухом надо было обладать, чтобы не относиться ни к красным, ни к белым, а говорить только о музыке: «слушайте музыку революции». Музыка той революции действительно оказалась для многих смертельна. Выстрелы, вой ветра в вымерших городах, хриплое бормотание «двенадцати»... Эпоха рок-н-ролла тоже была революцией: без винтовок, без пулеметов. Твоя книга об этом. И она замечательна. Но когда она будет, наконец, издана — она станет уже историей, или историей истории, ибо эпоха рок-н-ролла закончилась. Истошился порыв, рожденный этой музыкой, — по мере того, как она смела на пути все преграды, которые ей мешали. Герои рок-н-ролла частью мертвы, частью ушли на покой, частью ищут корысти или сочувствия, бесполезно звеня ветеранскими медалями. Пока «дух музыки», бушуя, сметал ветхие стены, вокруг возводились новые: мир изменился, но совершенно неожиданно стал туг на ухо. Поэтому настоящее время — следующее за эпохой рок-н-ролла, когда музыка стала вездесущей, а слушание её превратилось в одну из навязчивых маний «потребляющего человечества», — на самом деле является одной из самых немзыкальных эпох в человеческой истории...

## *Утри пот (II)*

...Всё хоть сколько-нибудь ценное на земле  
было создано горсткой избранных вопреки её  
величеству публике, в отчаянной борьбе с тупой  
и злобной толпой...

*Хоце Ормега-и-Гасцем, Musicalia*

Дружище, я прочитал твой «Рок-н-рольный бэнд» и преклоняюсь перед тобой, но, хоть ты меня режь, не разделяю твоего оптимизма и потому не согласен с тобой в главном. В начале своей истории рок-н-ролл представляет собою не цех, где слаженно и трудолюбиво работают мастера всемирной гильдии музыкантов. Сначала это какие-то темные подвалы или запущенные квартиры с парой стульев, кроватью и магнитофоном, утвержденным в центре мироздания, похожие на алхимические лаборатории, где производятся невиданные, кощунственные опыты со звуком... Джими Хендрикс, «мальчишка с глазами, излучающими свет звёзд». В 1964-м ему было девятнадцать. Шляпа, потертый пиджак, шапка курчавых волос, гитара. Он играл в Нью-Йорке в Стенли-баре на Авеню-Б, а спал на улице — несколько часов перед рассветом. Однажды заштатный пианист Майк Эфроп зазвал его поиграть к себе домой. Получился бэнд: гитара, ф-но, саксофон, ударные, — который часами, ночи напролет скоблил один и тот же аккорд, обтачивая его со всех сторон, пока в какой-то миг аккорд не начинал сиять, как острие клинка... Потом часть этих записей Майк продал итальянской фирме «Джокер», которая ещё в семидесятые занималась собирательством такого вот рода раритетов. Вышла пластинка, на одной стороне которой записана... назовем это импровизацией... под названием «Утри пот I», а на второй «Утри пот II», представляющая собой монотонное скрежетание, разделенное на две части, видимо, только по техническим причинам. Похоже на раскачивание больного зуба. Но знаешь, что это было на самом деле? Заточка оружия для грядущего мятежа...

Мятеж. Из серых предместий, из подвалов и гаражей выступает неведомое воинство. Над зелёным полем гремят громopodobные раскаты, и герои рок-н-ролла, подобно героям эпоса, творят новый мир во всём блеске своей неожиданной славы, в фантастических одеяниях, в излишествах пиров и любви, простительных только героям...

Да. Да, ты прав, это всего лишь горстка раздолбаев, несколько придурков и гениев, недоучившихся в колледжах, куда определили их благоразумные родители: но что поделаешь, если именно им, варварам цивилизованного мира, суждено было услышать и воплотить в звуки музыку нового времени, музыку спасения и музыку гибели? Они вдохнули жизнь в культуру, превратив её в поле боя; они не дали цивилизации захиреть, вызвав её на единоборство; они подарили людям энергию — энергию радости и анархической свободы, — почему даже сейчас, когда рок-н-ролл давно перестал быть чем-то большим, чем просто музыка, молодым ничего не остается, как вновь и вновь открывать для себя кумиров своих родителей — Beatles, Doors или Sex Pistols, потому что они до сих пор остаются генераторами силы.

В чём черпать энергию? Вот главный вопрос для человеческого сообщества. В строительстве пирамид или готических соборов? В открытиях и освоении неизвестных доселе пространств? В следовании за Христом — узкой дорожкой подвига — или выбитой тысячами копыт дорогой крестовых походов? В войнах и кровавых жертвоприношениях? В поисках Рая? Вечности? Благополучия?

Бунт разразился в тот момент, когда возник термин «общество потребления», в момент относительного благополучия и стабильности, когда ненависть на планете была сбалансирована равновесием сил двух противостоящих друг другу политических гигантов, а маховик отлаженной после войны промышленности стал производить блага жизни в количествах угрожающих, — и даже пугающих людей, привыкших поновлять поношенную одежду и передавать в наследство от бабушек внукам фарфоровые сервизы. Бунт в какой-то мере и был направлен против благополучия этого нового общества, которое требовало и нового стандарта жизни в обмен на свои немислимые блага...

Он был неожиданным и распространился как пожар. «...В какой-то краткий миг показалось, что рок-н-ролл наследует землю...» — написал Дэвид Дэлтон, вспоминая 1968 год. Этот перифраз слов из Нагорной проповеди более чем симптоматичен<sup>1</sup>. Но разве музыка не была кротким оружием по сравнению с водородной бомбой, напалмом, пластиковыми минами, идеологическими диверсиями против «внешних врагов», внутренней изысканной жестокостью западных демократий и грубой солдатчиной коммунизма? Была. Но, действительно, в какой-то миг показалось, что именно музыка победит государства и армию, упразднит полицию и суды, сделает ненужной мертвую чопорность угасающих религий, каким-то чудесным образом изменит ситуацию неподвижности, нелюбви и несвободы, в которой оказался современный «свободный» человек, и вернет ему полноту бытия на лоне природы... На развалинах разрушенных городов...

Разумеется, лишь по сравнению с боеголовками рок-н-ролл был кроток, на самом-то деле он был расплавленной магмой варварства, хлынувшей вдруг из-под коры закосневших в настороженности и древних обидах цивилизаций; как всякое варварство, он таил в себе опасность, и цели его были по-варварски грандиозны:

---

<sup>1</sup> «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» — так передают Евангелия слова Христа.

взять штурмом старую культуру, переставшую быть убежищем человека, взять так, как варвары взяли Рим, остановить мировую историю с её войнами и «реальной политикой», заменив её фантастическим и ужасающим по своему размаху карнавалом, в котором «последние станут первыми» (рефрен Дилана) и в единой вакхической пляске соединятся все племена и народы, населяющие землю...

То, что решающим оружием этого бунта стала музыка, делает ситуацию уникальной. Бунт был символическим. Но значит ли это, что он не был реальным? Достаточно вспомнить историю креста, чтобы понять, во что обходятся человечеству новые символы. Поэтому на поле боя рок-н-ролла остались не символически, а вполне реально погибшие герои...

Я вспоминаю кладбище Пер-Лашез в Париже. Время: осень 1997-го. Несколько негров с воздуходушными машинами (напоминающими пылесос, подвешенный за спиной на рюкзачных лямках) сдувают с Главного Проспекта осыпавшиеся за ночь листья вековых платанов, осеняющих этот город мертвых. Туристы. Постоянно протекающий через кладбище поток людей, который, миновав входные ворота, почти целиком поворачивает направо, к участку № 6, и направляется... да, к могиле Джима Моррисона<sup>1</sup>. Удивительно именно это целенаправленное движение, как будто не здесь же похоронены Эдит Пиаф и Сара Бернар, Аполлинер и Бальзак, наполеоновские маршалы Мюрат и Массена, цвет французского масонства, ополченцы, защищавшие Париж в 1870-м, коммунары, великие ученые и спириты<sup>2</sup>... Худосочные немчики напрямик тянутся к могиле Моррисона, вокруг которой все надгробия в радиусе двадцати метров сплошь исписаны и искорябаны автографами, признаниями в любви на разных языках и проклятиями миру, как будто на могиле музыканта взорвалась какая-то специальная мелкоосколочная бомба. Прежде на ней стоял его бюст, но бюст отломали, изуродовали, куда-то унесли... Было над чем задуматься осенью 97-го: он умер столько же лет назад, сколько прожил, а люди всё идут и идут, и надписи на окружающих могильных плитах, наслаиваясь друг на друга, образовывали какой-то фантастический текст, предвещающий конец и призывающий к разрушению, вопиющий об одиночестве и умоляющий о понимании... Сейчас всё поприветнее, наслоения надписей безжалостно стерты пескоструйными машинами, но тогда, в 97-м, могила Моррисона, несомненно, была алтарем и жертвенником какой-то странной религии, которая никак иначе не может быть названа, как религией рок-н-ролла<sup>3</sup>.

В то время стоило быть *только* внимательным, чтобы то же самое обнаружить у себя под боком: в Москве и в Питере были дворы, представляющие собой подлинны катакомбы, стены которых были сплошь покрыты священными именами и символами рок-н-ролла — «пацификами», символами анархии (заглавная, иногда похожая на звезду буква «А», вписанная в круг) или олигофреническими рожицами

<sup>1</sup> Лидер американской группы Doors, умер в Париже в 1971 году в возрасте 26 лет.

<sup>2</sup> И тем не менее три культовые могилы надежно засвидетельствованы надписями в кладбищенском туалете: Jim Morrison, «Oscar Wild forever» и «Viva Nestor Makhno!».

<sup>3</sup> Если мы поразмыслим над названиями нескольких песенок (Confessin, the Blues — «Исповедуй блюз») или групп вроде Alexis Corner New Church («Новая Церковь Алексиса Корнера»), то нам совершенно очевидной станет попытка рок-н-роллеров занять вакантные места, оставшиеся после «гибели богов» в начале XX века. Это им удалось, но ненадолго: претендентов оказалось слишком много, они ссорились и потакали своим слабостям, подобно богам Олимпа, чем быстро дискредитировали себя. Некоторую силу сохранили лишь те из них, кому посчастливилось вовремя умереть.

ONIXa, знака кислотников. «Боги» Олимпа — «Битлз», отдельно Джон Леннон, Гребеншиков, обозначаемый аббревиатурой БГ, «Алиса», ГрОБ («Гражданская Оборона») и, конечно, «Кино» и Виктор Цой, культ которого мощно простерся от Тихого океана до Балтики. На «стене Цоя» в Москве до сих пор, кажется, не исчезает надпись: «Наша вера — рок, наши молитвы — песни, наш бог — Виктор Цой».

Вот максима, достойная пристальнейшего интереса.

Я не исключаю того, что Цой — бог. Ибо кто знает, какими они были, молодые боги, в час своего явления людям на ранней заре истории? Он был силён, бесстрашен и молод. И близок каждому, как Иисус Христос. Никто не знает ни его отца, ни матери. Как будто сам собой возник он из тёмного хаоса Петербурга в угольной черноте котельной. Одинокий юноша, швыряющий антрацит в топку с клубящимися в ней языками огня. Он один. И гитара. И пачка сигарет — символ независимости мальчика, осмелившегося идти по жизни своим путем.

Он сказал слово любви, он назвал мёртвое мёртвым, а живое — живым. Когда ему нечего стало больше сказать, он погиб. Его бессчетные поклонники бесконечное число раз копируют его. Но сколь бы ни была хороша копия, оригиналом она не станет. Не каждому по силам сделать из своей жизни оригинал. Поэтому надписи на стене взывают к Цою о воскресении. Но что бы он стал делать сейчас, если б воскрес? It is the question.

Смерть...

Смерть часто спасает человека от неверного шага, не дает сделать лишнего. Видео позволило поближе разглядеть Моррисона. Знаешь, что я тебе скажу? Это был хрупкий демон. Он мог бы и сломаться, когда закончилась его эпоха. Но смерть выручила его. Он приехал в Париж, где в точном соответствии со словом и духом одной из своих лучших вещей шел от одного виски-бара к другому и однажды, не приняв во внимание хрупкость поверхности эйфории, которая держала его, умер от сердечного приступа<sup>1</sup>. Нет-нет, в его смерти не было ничего героического. Зато ничего, что шло бы вразрез с той странной, прекрасной и беспутной жизнью, которую он вел, он тоже не совершил — и потому остался символом. Символом Человеческого Существа, каждым своим поступком противостоящим Убийственной Целесообразности, Рационализму и Технологичности современной жизни... Вот почему так долго не иссякал поток стремящихся к его могиле, и вот почему на могильных плитах они клялись разрушить тот мир, который пришиб его и, по-видимому, собирался пришибить и их (что подтверждает нынешняя добропорядочная чистота могилы). Угрозу такого рода молодые остро ощущают на пороге взрослости...

Глядя на обывателей — прекрасных обывателей Парижа, обывателей всего мира, которые сидят в парижских кафе и пьют вино (прекрасное вино), — невозможно сказать, почему они не чувствуют той трагедии бытия, которую чувствовал он. Он — как Гамлет, доведенный почти до безумия сплетением злодейства, корысти и всеобщего обмана. Мог ли Гамлет смириться, отступить, сделать вид, что ничего не знает или не понимает? Ну, разумеется, нет. Вот и Моррисон — не мог так вот просто сидеть за столиком и пить прекрасное вино. У пророка есть свои обязательства перед аудиторией. Он просто честно выполнил их и, предназначав конец себе и миру<sup>2</sup>, вышел

<sup>1</sup> Однажды он прибавил к алкогольному коктейлю героин — и все тут же обвалилось.

<sup>2</sup> The End — одна из программных вещей Моррисона, ставшая музыкальной метафорой фильма Ф.Ф.Коппопы «Апокалипсис наших дней». Тема Апокалипсиса и Армагеддона — эсхатологической битвы на исходе времен — исподволь вкрадывается в наш текст, но с этим ничего не поделаешь...

из игры тогда, когда правила *его* игры перестали действовать. Это произошло ведь как раз на рубеже 70-х, когда рок-музыка из просто бизнеса стала превращаться в Большой Бизнес; когда и идеология хиппи, и бунтарство, и все-что-ты-хочешь стало Большим Бизнесом и каждый известный музыкант тоже становился частью Бизнеса. У него могло быть свое место в этом Бизнесе, например, место экстравагантных хулиганов, как у «Роллинг Стоунз», которое оплачивалось очень высоко. Или место утонченных интеллектуалов звука, как у «Кинг Кримсон». Но если ты не желал во всем этом участвовать, ты автоматически выбывал из игры. Ну, вот, может, он и выбыл. Тогда многие выбыли. Что такое для музыканта смерть, можно понять, представив себе обратное: что Моррисон, например, не умер, а продолжал жить и записываться, как записывались Doors без него, как записывались Deep Purple и другие группы, уже не несущие никакого *послания*, хотя бы даже послания о собственной гибели (как Кобейн). Пожалуй, это было бы очень разумно и по-взрослому, и ничего в этом страшного не было бы. Написать песенки, собрать в альбом, прокатить его в турне по миру и, высадившись на каникулы в Париже или где-нибудь еще, пить вино (прекрасное вино), но... В этом не было бы драмы, и такая музыка очень скоро стала бы просто никому не нужна, потому что — ну, какая музыка без драмы? В ней нет энергии. Даже попса раздувает свои кошачьи страсти до уровня вселенской катастрофы... Нельзя без драмы...

Характерно, что Большой Бизнес, который всегда является агентом толпы, адаптирует практически все. Он адаптировал к толпе Моррисона и нажился на нём мертвом гораздо круче, чем на живом. С Кобейном, который просто в глаза каждому репортеру или менеджеру, пришедшему с очередным предложением, орал «ненавижу!» — произошло то же самое. И самое смешное, что так было всегда: «Вагнеру не смогли простить его великих творений до тех пор, пока не нашли способ истолковать их по-своему» (это Блок, прежде уже мною цитированный). А сегодня «Роллинг Стоунз», которых когда-то запрещали к трансляции по радио, выходят в популярной симфонической версии<sup>1</sup> (аналогично — «Битлз», Стинг и другие звезды), в которой их музыка доведена до последней степени сладости и неузнаваемости. И люди, услышав их музыку в адаптированном «десертном» исполнении, никогда не будут знать, что в ней, собственно говоря, *такого*, откуда был и этот дикий восторг и эта неистовая энергия? Потому что музыка мятежа — это не то же самое, что музыкальная тартинка с джемом.

Я вообще не совсем понимаю, как Хендрикс мог бы быть подан на десерт? Как рок может быть фоном, просто-музыкой? В общем, большинство творений эпохи рок-н-ролла трудно поддаются адаптации. Музыка фона, бесконечный поток монотонных звуков, неотвязных, как маниакально-депрессивный психоз — техно, — родилась, когда пепел на полях сражений рок-н-ролла уже остыл. Весь мир купился на простые гармонии, безликие гигабайты звуков и компьютерные ритмы. Но мы сейчас говорим не о пластиковом мире одноразового использования, в котором живет большинство человечества, а о давнишней, теперь уже почти позабытой эпохе, которой, однако, нам довелось стать свидетелями. Думаю, ты согласишься, что ничего неблагозвучнее, чем завывания Grand Funk на их первом «живьем» записанном альбоме, трудно себе представить, и тем не менее это была *настоящая* музыка, это был рок-н-ролл высшей пробы, и всё, что они сделали кроме этого, — мура, недостойная

---

<sup>1</sup> Речь не идет, однако, об оригинальном диске Symphonic Music of the Rolling Stones (1994) — это прекрасная и полная тонкого юмора вещь.

даже упоминания. Но по-настоящему-то нужно было *быть* на этом концерте. Нет! Надо было *играть* его! Вот тогда бы музыка наполнила тебя, как молния! Рок-н-ролл требует участия и своеобразной присяги. Ты не просто слушатель бесконечных «тыц-тыц» в наушниках. Ты должен выглядеть и жить как рокер. Rock and Roll Soul — это душа бунтаря. Блюзовая душа... За этим — нескладная жизнь, неудобье, жизнь впроголодь, бутылка виски, сделка с дьяволом, попытка услышать Господа, взрыв «надстройки», культ спонтанности, наркотики, анархия и отвага последнего боя перед неотступной гибелью... Рок-н-роллер редко читает книги, но оперирует теми же понятиями и балансирует на той же тонкой, как бритва, грани между добром и злом, что и большая часть опальных мыслителей и еретиков, пытаясь составить свое представление о мире и очертить внутри него свое пространство. И на безумие мира он может ответить собственным безумством, отречься от разума, провозгласить первенство инстинкта, вышибить себе и ближнему мозги звуком или травой...

Рок-н-ролл опасен, как всё настоящее, — вот чего теперешние непробиваемые потребители музыки не могут понять, в то время как раньше понимал каждый секретарь комсомольского бюро.

Опасен, как опасно безумие. Надо зафиксировать это пограничье безумия и рок-н-ролла. Ведь если честно, рок-н-ролл — это безумство, транс, камлание, улёт — всё что угодно, только не благочинный разум. Это бунт против разума, против рации, против рациональности. Самые выдающиеся люди в этой музыке (Хендрикс, «Лед Зеппелин», «Флойд», Патти Смит) просто взрывали себе мозги кислотой, что позволяло им написать несколько совершенно неправдоподобных, небывалых даже в самой этой музыке вещей. Джими Хендрикс, Дженис Джоуплин, Джим Моррисон, Брайан Джонс, Джон Бонэм<sup>1</sup>. Все, кто пошли этой дорожкой улёта до конца, погибли. Не обязательно при этом красиво. Сверкающий алмаз «Флойда» — Сид Барретт — очень быстро раскрошился под воздействием кислоты и уже в самом начале фантастической карьеры группы мог производить уже не музыку, а только шум. А к концу он вел растительную жизнь толстого идиота, прикованного к телевизору, и ничем не походил на того огненного ангела, который, собственно, и приоткрыл товарищам вход в *параллельную* реальность *звуков*. Но главное — всё, именно всё, что было в создано в этой музыке лучшего, было создано в максимальном приближении к зоне смертельного риска. По счастливому стечению обстоятельств смерть не прибрала никого из «Битлз», обошла Мика Джаггера и Кейта Ричардса (ведущий дуэт «Роллинг Стоунз»), Тома Уэйтса, Нила Янга, Боба Дилана, Иэна Андерсона — они ведь тоже были первопроходцами и заслужили смерть. Остальным, кто идет «по стопам», она не грозит. Остальные, как правило, просто пере-певают, пере-игрывают, доводят до уровня общих мест то, что первопроходцами было найдено с риском для жизни.

Я предлагал тебе для перевода «Наречие любви» — один из важнейших текстов эпохи рок-н-ролла, противо-евангелие, вложенное в конверт пластинки Патти Смит «Радио Эфиопия». Ты отказался. Жаль. Слишком многое делается ясным из него: даже то, почему эпоха рок-н-ролла сменилась эпохой «Красных бригад»...

---

<sup>1</sup> Джими Хендрикс — великий рок-гитарист, лидер группы Experience (ум. 1970); Дженис Джоуплин — выдающаяся американская исполнительница рок-музыки (ум. 1970); Брайан Джонс — экс-гитарист группы «Роллинг Стоунз» (ум. 1969); Джон Бонэм — барабанщик группы «Лед Зеппелин» (ум. 1980).

Попытка написать сакральный текст у Патти Смит заканчивается воззванием к ангелам ада, а слова любви звучат как безумный и неистовый речитатив шамана; но ты ведь чувствуешь жуткую правду этих слов? «Искусство есть ад» (Блок). Но с тех пор, как Блоком были написаны эти слова, жизнь стала настолько бесчеловечнее...

Насколько?

Я не знаю ответа на этот вопрос. Но этот вопль ненависти — возможно, один из самых искренних звуков, издаваемых человеком в мире голимого бизнеса и всех тех превращений нравов и судеб, который сопутствует голимому бизнесу. Поэтизировать это смог только великий Феллини («Джинджер и Фред»).

Здесь я упираюсь во что-то, чего и сам как следует не пойму... Я не согласен с тем, что ненависть и неистовство — это выход, чем бы они ни оправдывались. Может быть, чтобы настроить сердце на музыку любви, нужно быть проще и мужественнее? Эпоха рок-н-ролла прошла. И вряд ли повторится ещё раз. Те, кто сегодня продолжают работать под брендом рок-н-ролла, — как правило, просто удачливые коммерсанты. Меня же, как ты знаешь, интересует дух. Возможно, дух новой музыки — не бунт, а «изобретательство». Соответственно, меняется и антураж: зелёные поля сражений сменяются замкнутым пространством лаборатории. Музыкант — уже не «капитан Африка», поднимающий в прорыв сенегальские батальоны, а маг-виртуоз, колдующий над прочтением (для узкого круга публики) сложнейших музыкальных ассоциаций. В этом смысле необычайно характерна последняя программа великого перкуSSIONИСТА Владимира Тарасова: «Думая о Хлебникове». Итак, не бунт — а «изобретательство»?

Жду твоих соображений.

### *Утри нот (III)*

Те, кто придут после нас, не будут иметь с нами ничего общего, они даже чувствовать будут по-другому.

И им придется создавать свой собственный оригинальный саунд.

*Джим Моррисон, 1968*

Василий, твой текст, который ты посчитал достойной формой отклика на то, что я писал тебе до сих пор, застал меня в самое неподходящее время, в самом неподходящем, надо сказать, настроении. Я только приехал с Енисея от Миши Тарковского, приехал бодрым, здоровым каким-то, полным сил — а тут твой перевод из книги Грэя Маркуса «Блюз...», который сразу макнул меня мордой в... Как бы поделикатнее выразиться? Призрак, Вася, бродит по Европе. Впрочем, и по Америке. И по России тоже. Призрак сатанизма. Я, заметь, спокоен. Я в своём спокойствии захожу столь далеко, что отсылаю тебя к... Да, к работе Мартина Хайдеггера «Европейский нигилизм», где всё объяснено про всё, объяснено даже больше, чем способен понять нормальный человек, и про сатанизм, разумеется, тоже, и про эпиграф, который на первый взгляд кажется таким бесспорным... История Роберта Джонсона<sup>1</sup> замечательна. Но Боже мой, *как я не хочу* всего этого! Не хочу,

<sup>1</sup> Американский блюзмен, родился в 1911 году, убит в 1938-м. По легенде за свой талант музыканта отдал душу дьяволу.

*Ольга Балла*

## «Как пружинит лёгкостью высь»

**Ирина ЕРМАКОВА. Медное зеркало: Стихотворения 1987—2020 / Предисловие А.Саломатина и А.Скворцова. — М.: О.Г.И., 2023. — 496 с.**

Огромный том составили избранные результаты поэтической работы Ирины Ермаковой за срок сказочный, если не мифологический: тридцать лет и три года. (И независимо от того, в какой степени такое число случайно, выглядит оно символически — эта сказочность, мифологичность сама по себе кажется очень соответствующей поэзии Ермаковой, на родство которой с формами архаического (а вместе с тем и детского — близкого корням жизни) сознания с самого начала справедливо обратили внимание авторы большого и основательного, исследующего и систематизирующего предисловия к книге (достойного названия сжатой монографии) Алексей Саломатин и Артём Скворцов.

Вообще, после Саломатина и Скворцова писать об Ирине Ермаковой что бы то ни было — самонадеянная дерзость: они исследовали её работу в поэзии в целом от начала до наших дней и сказали о ней, кажется, всё, что только возможно. Тем не менее отважимся — и постараемся добавить что-нибудь, ими ещё не сказанное.

Прежде всего заметим, что книга, вобравшая в себя тексты, относящиеся к очень разным историческим и биографическим эпохам, обнаруживает удивительную цельность: общность во всех этих текстах манеры речи автора, типа её взгляда, позиции по отношению к миру, к той же речи, к самой себе.

Как же устроена эта цельность, каковы её основные черты — и, не прекращая быть цельностью, менялась ли она как бы то ни было за все эти годы? Расположены стихи тут в хронологическом порядке, так что характер перемен вполне поддаётся прослеживанию.

Самое явное из произошедших изменений: у ранней Ермаковой — при всей несомненной её индивидуальности — нет-нет да и узнаются ещё отголоски испытанных ею влияний. Вот, например, совершенная же Цветаева:

Постылый переулочек,  
кривой, слепой, хромой.  
Не отпущу прогулочек  
тебе, убогий мой.

Домой? А тень корёжится  
по южной стороне,  
и слов погибших кожа  
покоится во мне.



Впрочем, тут можно расслышать и, например, ритм мандельштамовского «Жил Александр Герцевич...» (но всё-таки к Цветаевой, кажется, ближе: «На дне. Пустила — тянется/ забор, ещё забор./ Прикованная странница —/ ворота, лавка, двор...»). В воздухе — читательском воздухе поздних восьмидесятых — носилось, с воздухом вдохнулось. С ним и выдохнулось.

Одно из ранних стихотворений кажется ритмическим слепком и впечатления более раннего, скорее всего, пережитого в детстве:

По-польски шипит, остывая, зола.  
Край света изрезала леса пила.

— О чём, моя пани, очнись, нам пора!  
— Зачекай, коханный, мне жалко костра.

Конечно, это «Лесной царь» Гёте—Жуковского, до такой даже степени, что и тут есть погоня — и диалог убегающих от неё — без, правда, её трагического финала (весьма вероятно, это сознательная отсылка к первоисточнику):

— Послушай, за речкою эхо копыт.  
— То уголь последний, сгорая, хрипит.

— Погоня у брода, крулёва, бежим!  
— Не бойся, коханный, укроет нас дым.

Ближе к концу книги (да уже и к середине её) заёмные интонации совсем пропадают.

И, к слову сказать, ритмически Ермакова очень разнообразна.

Если говорить об устройстве этой цельности — в разных её точках, есть смысл обратить внимание на то, что в текстах Ермаковой присутствуют, организуя их изнутри, разные типы «я» (поэтического / повествующего / текстоорганизующего субъекта), и это свойство — из «сквозных», сохраняющихся от начала книги к концу. Есть среди них «я» и биографическое, и психологическое (но такое не то что не преобладает, а просто в меньшинстве), и экзистенциальное — очищенное от эмпирических координат и имеющее отношение лишь к предельным вопросам существования («...смерть, любовь и я» — три равные собеседницы, сидящих рядышком «на златом крыльце» в одном из относительно поздних стихотворений). У этого экзистенциального «я» есть по меньшей мере два устойчивых признака: оно не отделяет себя от подробностей бытового существования, можно даже сказать, что — чувствует себя через них, никак с ними при этом не отождествляясь (подобно тому, как уэллсова Человека-невидимку возможно было видеть только через надетую на него одежду — которой он сам, разумеется, не был), и — никогда не воспринимает себя чересчур всерьёз, даже если речь идёт о ситуациях — предельнее некуда:

Мне весело, будто уже умерла, —  
Липучие крошки кутьи со стола  
хозяйка, зевая, сгребает в ведро,  
чирикающая, сыплются гости к метро,  
изрядно подпили, умильны вполне,  
последнюю сплетню несут обо мне.

Соединение темы смерти и веселья или хоть иронической, шуточной интонации — характерный ермаковский парадокс. Среди её важнейших принципов — говорить о предельном легко.

Вот вытрясли всю душу, вот она  
взвилась, махнув рукой на это тело,  
шарахнулась от койки до окна  
и не оглядываясь полетела.

<...>

Ты что, душа моя, совсем сдурела?

Какое — тело? Что тебе в нём? Ад  
и голова, где только звон и ветер.  
Зевнёт, встряхнётся, как весёлый сеттер,  
и прыгнет в эти рёбра наугад.

Кстати, об эволюции: частотность темы смерти и отношений с нею ближе к поздним стихам возрастает. (Признаться, вообще иной раз думается, что эта тема становится ведущей, чуть ли не настойчивой: то как будто уйдёт с поверхности — но недалеко, неглубоко, — то вновь вынырнет в том или ином, но всякий раз узнаваемом обличье. Вот, например, то, что представлено как обращение человека к божьей коровке, — не речь ли на самом деле смерти к человеку в ситуации, когда его персональное «лето — всё. / Выдохлось. Опустело»?)

...И ты улетай, пора. Там тебя ждали.  
Забывай, отрываясь. Давай подниму повыше,  
чувствуешь, как пружинит лёгкостью высь,  
как, бледнея, дрожит просвет,  
ну? — лети же!

(А адресат этой речи, знамо дело, по неразумию своему упорствует:

Перебирает копытцами божья малость,  
нет, говорит, в ладонь вжимаясь,  
вернее, молчит: нет.

Ну прямо как мы, надо же.)

И вот ещё важное: в число отношений со смертью у Ермаковой — ранней ли, поздней ли, но поздней особенно — никогда не входит страх, но неизменно входит внимательное, любопытствующее всматривание. (При том, что общее мировосприятие Ермаковой никак не назовёшь безмятежным; тут скорее — постоянная, фоновая встревоженность; даже когда всё по видимости хорошо, поэт чувствует воспалённую — или легко воспаляющуюся — изнанку мира.) Всматривается она в свою вечную собеседницу так, будто смерть — куда скорее освобождение и открытие неведомого.

Вообще, к «сквозным» особенностям мироотношения Ермаковой и её поэтической речи непременно должно быть отнесено слияние — до неразделимости — двух интонаций: иронической и печальной, насмешливой и встревоженной; одновременное удержание в поле зрения того, что принято почитать как возвышенное, и того, что привычно считать низким. Дионис и пустые бутылки, Зевс и закрывающийся магазин — античные боги и поздне- или постсоветская повседневность существуют для неё в одной плоскости (точнее, в одном объёме), но роднит их не замученная повседневность, которая и сама — лишь один из элементов целого, — но вечность, которой ничто не мелко:

— Всем вина подавай, — ворчит Дионис,  
отмывая на пляже пустые бутылки.

<...>

А у Зевса — жажда и болит сердце  
и в кудрях — пепел, и руки — в золе

<...>

Магазин закрывается дотемна.  
Остывает пыль на пустом косогоре.

Беспечальные боги хотят вина.  
За утёсом вечно гудит море.

Эта история, конечно, рассказана (отчасти) иронически, но именно потому, что речь идёт, если хорошо всмотреться, о предметах крупных и глубоких: согласно ермаковской поэтической этике, так и следует о них говорить. Это разновидность почтительной дистанции.

Есть и «я» чувственное — мы не узнаем почти ни одной его земной приметы, кроме того факта, что оно телесно соприкасается с плотью мира. У него явно есть память и некоторые несомненно биографические черты — но только такие, которые относятся к этому телесному соприкосновению, — остальное угадывается.

Вот из позднего — конечно, воспоминание о детстве, вневременном и сновидческом, как и свойственно детству («Я уже по колено/ по пояс/ уже плыву/ как наяву/ как завтра или вчера»):

Уже бегу  
продираясь в густом береговом ивняке  
узких листьев серо-зелёная чехарда  
тропка пунктиром в очень горячем песке  
память — бег по песку  
оглядка — изгиб реки  
строгое солнце сверкнёт сквозь листву  
как бабушкины очки  
ветка хлестнёт по лицу  
больно вспыхнет вода

И вдруг воображаемая камера резко взмывает вверх — и обращается к крупному, надчеловеческому, теряя маленькое человеческое из вида:

Огненный шар стекает в разлив Днепра.

Или из раннего:

Я плаваю в травах измятых  
под стоны и скрежеты ели.

На самом деле только что процитированные строчки — из стихотворения о сне-бреду в больнице, о ночном больничном одиночестве: «Спит ночь и седьмая палата <...> Уснули и умерли все». И да, здесь, казалось бы, «я» в чистом виде чувственное («Сон пахнет полынью, эфиром,/ лицо и рубашка — в росе») — но вдруг это же самое «я», не переставая быть собой, — видит мир в целом — как бы с огромной дистанции, как бы уже взлетев над ним: «Мир занят войной и любовью».

И так у Ермаковой постоянно: переключение от одного типа текстоорганизующего субъекта к другому — а то и к отсутствию такового — происходит моментально, до незаметности.

Примечательно, что открывается книга стихотворением, первое слово которого — и таким образом первое, инициирующее слово всей книги — то самое местоимение:

Я развёл костёр, накормил пламя,  
Влил в него тысячу капель крови,  
Золотой, замедленной своей кровью...

И сразу же понятно, что с эмпирическим обликом поэта заявленное «я» имеет довольно мало общего.

Зато это ключевое стихотворение наводит нас на некоторые мысли об одном из типов «я», важнейших для книги, для всей работы поэта в целом: это «я» магическое (что, конечно, в глубоком родстве с самым существом поэзии). Не просто напрямую общающееся с мирозданием, но воздействующее на него, на все его уровни, запускающее в нём формирующие процессы (а уж в том, что мироздание, партнёр по диалогу, — живое, и сомневаться не приходится). В открывающем книгу тексте это происходит с помощью архаических практик, — но это так, для наглядности:

Я развесил вокруг огня амулеты  
На стволах красных еловых-кедровых,  
На стволах крепких корявых-стройных,  
На дремучих сучьях оледенелых,  
На бессонных ветках кустов снежных.  
Зазвенели угли в очерченном круге,  
заходили под ними тёплые корни,  
Завозился сугроб, как медведь в берлоге,  
Кровь земли оттаяла, отворилась,  
Соль земли очнулась и с талым снегом  
Просочилась в ухо нижнего мира.

Потом, по существу, то же самое будет происходить в формах значительно менее явных.

Да, поэтический субъект Ермаковой имеет дело напрямую с мирообразующими силами и вообще находится в единстве с ними. Но маг — активный практик, вмешивающийся в порядок вещей и подчиняющий его себе, а это — хоть и заявлено в самом начале — не вполне соответствует поэтическому темпераменту Ермаковой, который стоило бы назвать скорее созерцательным, располагающим к удерживанию дистанции между собой и наблюдаемым или даже требующим этого. Магическое «я» тут тоже не доминирует (хотя его присутствие всё время чувствуется).

Ведущим типом текстоорганизующего субъекта у Ермаковой следует, пожалуй, признать *скрытого наблюдателя*. Стремящегося к универсальности: к видению и речи поверх доставшихся поэту биографических и иных координат.

Это он, скрытый, присутствует у Ермаковой в стихотворениях, обходящихся без всякого «я» вообще, в которых мироздание и разные его части говорят и действуют как будто сами за себя, совсем не заботясь о человеке — наблюдателе и комментаторе. Поэт умеет давать миру максимальную свободу:

река забылась на мгновенье  
петля — дух перевести  
и просто ветви отвести  
со лба и далее нести  
разломленные отраженья  
непоправимого штрихи  
сюда в иное измеренье  
по эту сторону строки

Там-то, в ином измеренье, скрытый наблюдатель и поджидает мир — беспечно идущий к нему прямо в руки.

Кстати, это стихотворение тоже первое: оно открывает собой основной корпус текстов, самый первый его раздел, — и, значит, тоже имеет право быть прочитанным как в некотором роде ключевое, задающее тон.

Итак, скрытый наблюдатель, стремящийся к универсальности, — при всей несомненной его эмоциональности и (даже; но, собственно, почему «даже»?) чувственности (могут ли чувственность и эмоциональность становиться инструментами универсального? — У Ермаковой, кажется, происходит именно это), не имеющий ни пола / гендера (мы уже имели возможность заметить, что гендерная принадлежность тут — мерцающая, необязательная, глубоко вторичная — может оборачиваться и мужской: «Я развёл костёр, накормил пламя...»), ни возраста, ни иных (закрепляющих, лишаящих свободы — свободы повествования, видения) социальных, социализирующих координат.

А вот географические координаты у этого наблюдателя есть. Это юг, крымский берег, крымские горы, родная Керчь, родное украинско-русское пограничье... — и ведь это в некотором смысле координаты экзистенциальные. Сегодня эти топонимы невозможно произнести без боли, и хотя все без исключения стихи сборника, включая самые поздние, написаны до известных исторических событий, имена этих мест пропитаны болью уже тут.

И вот здесь самое время обратить внимание на взаимоотношения поэта с историей. На самый первый и поверхностный взгляд может показаться, что история как таковая в стихах Ермаковой присутствует минимально, заглядывая сюда лишь изредка. В этом смысле кажется резко выделяющимся на общем фоне поразительное, страшное, провидческое стихотворение «Пешеход», из первых текстов книги, написанное, по всей вероятности, в конце восьмидесятых: оно — о послевоенном запустении.

Из уездного города Н.  
по просёлочным развесёлым  
мимо трупов родных деревень,  
по пространным урочищам голым,  
где земля адче солнца печёт,  
вянут птицы, брешут лисицы,  
где развилки: вперёд и — вперёд,  
где угодливо нечисть роится  
и клубится во мгле у костра...

Вообще-то по прямому и поверхностному смыслу этот текст — как будто о евангельских временах. Тот, о ком тут речь, — правда, ни единого разу не названный по имени, — как раскрыто только в последней строчке, идёт «в столичный город» — лишь тут понятно, что в Иерусалим — из Назарета. Однако что-то упорно подсказывает, что и Назарет, и Иерусалим тут — чистая условность (или — отсылка к архетипике

нашей культуры), а разговор именно о послевоенной — или военной — разрухе и — вопреки ей — о некоторой надежде («Сквозь прекрасную вдребезги жизнь,/ мор, погромы и одичанье/ на разграбленных лицах лежит/ золотистая пыль ожидания»), причём, общий контекст стихотворения таков, что разлитые вокруг «мор, погромы и одичанье» кажутся сильнее золотистой пыли». В конце восьмидесятых такое пришло бы в голову разве что очень прозорливым. Но поэты — провидцы (Ермакова — с её величайшей чувствительностью — как раз из таких), и добравшись в книге до стихов 2013 года, когда тоже ещё как будто ничего не происходило, мы в этом очередной раз убедимся.

Надо всем кружит штурвалом солнце  
Сентября тринадцатого года  
И колотится у горла сердце.

Это о довоенном Крыме. Ничего не названо — и названо всё. Поэту очень хочется изъять свой Крым с его драгоценным колыбельным воздухом из истории и поместить в спасительную вечность, — и совершенно ясно, что не удастся, невозможно — но хочется всё равно:

Вот он, воздух сольный, дымный, винный  
Не татарский и не караимский  
И не русский, и не украинский  
Колыбельный воздух коктейльный.

Так вот, к эволюции: чем дальше, тем явственнее проступает в этих стихах история. Нет, она не занимает всего пространства. Однако проступает.

Да, но в каком облике? Нет ничего более далёкого от принципиальных установок Ермаковой, чем прямое публицистическое высказывание и реакции на актуальную повестку. У неё всё гораздо глубже.

История предстаёт здесь как одна из стихийных, почти природных, во всяком случае, явно надчеловеческих сил — разрушительного, враждебного порядка («...век-истребитель насквозь прошёл»), с которыми человеку, похоже, не справиться: «Мне ли одной-смешной/ всё растопить кругом?»

Спит за моей спиной  
родина мёртвым сном.  
Лёд и державный стыд,  
больно дышать в снегу,  
жемчуг на горле горит,  
полный обвал в мозгу.

Как продышать страх,  
чем одолеть лёд,  
белого платя флаг  
ветер цепной рвёт,  
светится-тает снег  
всё веселей и злей,  
словно вот-вот золотой век  
будет стране моей.

Это с совсем последних страниц. По прямому имени опять же ничего не называется, — но это, в конце концов, потому, что неназываемое больше своих

сиюминутных имён, которые кажутся нам прямыми. И изначально, с ранних стихотворений свойственная поэту метафизическая настороженность, кажется, становится всё более явной. И ещё, кажется, убывает — или делается ещё горше — ирония, в ранних стихах почти неизменно сопровождавшая речь о печальном. А обитаемая нами тонкая — и тончайше чувствуемая поэтом — драгоценная плёнка над бездной — делается, может быть, всё более тонкой.

Кстати, это в глубоком родстве с уже упоминавшейся нами сквозной темой поэтического внимания Ермаковой — отношений человека со смертью и, вполне возможно, — один из аспектов этой темы.

И если говорить о ведущей черте поэзии на протяжении всех этих эпических тридцати трёх лет, то этой чертой — по крайней мере, одной из таковых — можно назвать метафизику в чувственном облике; просвечивание тайного и недоступного взору через воспринимаемую, тщательно вылепленную поверхность.

Борис Кутенков

## «Нет спасения жизнь кипит»

Эта книга стала для меня сильнейшим поэтическим переживанием последнего времени.

Времени, о котором точно пишет в предисловии Полина Барскова: когда «осознание конца <...> не есть биологическая смерть пишущего»; когда «поэт, поэтическая машина понимает/осознаёт свою бессмысленность... и всё же продолжает работать».

Времени, когда говорить поэту, кажется, не то что бессмысленно — невозможно, — и невозможно не говорить.

Времени, в котором пишущему стихи неустанно приходится искать собственную версию взаимоотношений с типическим, общечеловеческим, — и способ избежать плакатности, сохранив усилие художественной формы. Искать свою адекватную «середину» (которая не была бы усреднённой) между отсутствием шифрации, эзопова языка, — и способностью поэтической речи сохранить необходимую косвенность, опять-таки, не будучи газетным листком, лобовой публицистикой. Между предметностью поэзии — и соблазном обобщения, риторического пафоса.

Времени, которое поставило эти вопросы как никогда остро.

Игорь Булатовский, кажется, находит наилучший — и глубоко индивидуальный — ответ на перечисленные вопрошания, предлагая свой метод работы с языком и словом в сегодняшних условиях. Каждой строкой преподнося точное свидетельство о нынешнем дне. Встраивая этот день и его жестокие реалии в огромный исторический контекст.

Создавая «актуальную поэзию» в самом наипрямейшем смысле, а не в экспериментаторском, — тем паче работая с силлабо-тоникой и показывая её новые и неисчерпаемые возможности.

Создавая сюжет — если не главный в «Аврам-траве», то, безусловно, наиболее важный для меня здесь, — движения, неостановимой суеты сует, проходящей через бедственную эпоху; суеты, где «в рабочий полдень смерти нет»; суеты человеческого быта, через которую легко шагают смерть, трагедия и зло — то отодвигаясь позитивным фоном, а то — перемалываясь естественной человеческой адаптивностью. В строке «нет спасения жизнь кипит» сущности перечислены не просто без запятой, а скороговоркой в одной строке, ассоциативно отсылая к набоковским словам из эпиграфа к «Дару»; здесь на одной доске располагаются отсутствие спасения и фоновое, «муравьиное» движение суеты сует. Если опять-таки соотнести это утверждение с набоковской формульностью, то в нём видится едва ли не что-то статуарное. В таком отсутствии спасения, возможно, и есть спасение — или же его временная замена, прикрытие всё того же самого зла? Решать каждому самостоятельно.

---

Игорь Булатовский. Аврам-трава: Стихотворения 2017—2023 годов. / Предисловие Полины Барсковой. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 328 с. — Серия «Новая поэзия».



Разговор о самообмане возникает уже в первом, замечательном (замечательно общим, то есть излагающем это «общее» не плакатными словами) стихотворении книги с ироническим «посвящением Хню». (В этом «Хню» может услышаться и конкретное прозвище адресата, и обценная лексика, и неологизм — производное от хтони.)

стоят на горке две доски  
а третья поперёк  
ворота слов не широки  
зато проём высок

заходишь в них и видишь всё  
как будто в первый раз  
глядишь себе на то на сё  
и не отводишь глаз

ты был дурак а стал дурак  
но это не беда  
зато теперь вкусней табак  
теперь мокрей вода

<...>

Человек, вынужденный к постоянному «зато», к самообману как неизбежному следствию несвободы; не властный над своей волей и легко становящийся игрушкой катаклизмов, — в цикле «Песни о простых людях» и других, — предмет изображения Игоря Булатовского и предмет его горечи. Поэт как всеведущий актер этого пространства включается в мощный смысловой диапазон переживаний — будучи и его, пространства, голосом со свойственной ему отчаянной иронией, и самим объектом перемалывания, оказавшимся в жерновах времени. А то и — игрушкой в «руках идиотов», которые «теребят, вертят, как брелочки, <...>, / трясут, как дешёвой авторучкой, / сворачивают, как проездной билетик». Всё это нагромождение подробностей в сочетании с прозрением героя «иди сюда, посмотри, / что они делают с нами!» создаёт мощный эффект — встраивая стихотворение в контекст литературной традиции, от Замятина и Оруэлла до Шаламова. Прозрение возникает ситуативно и единично — но, кажется, в него Булатовский не очень верит, ибо самим теремым и трясомым оно воспринимается не как опасность, но как весёлый цирк:

Ну вот, родная, ты всё пропустила!  
А было так забавно!  
И видно было как на ладони!

В одном из стихотворений, которое откликается на брюсовское «Каменщик, каменщик в фартуке белом...», вновь звучит нота жертвы — но скорее не веселящейся, а покорной и усталой. В диалоге, который своеобразно воспроизводит эстетику социологического опроса, поэтическое перемежается с типическим, контрастирует с обыденностью отвечающей речи. Стихотворение (не единственное в книге, выполненное в такой эстетике) производит сильнейшее впечатление — именно сочетанием вопрошающей участливости и встречной усталости, неожиданными перемежениями метафорики — и мёртвого ответного голоса, в котором уже нет никаких метафор, слышны лишь усталость и покорность разговорной речи. В финале текста слышится проникновение поэтического и в этот голос:

— Кто нас позвал в эти дебри словесные?  
Кто посадил нас в вагон?  
— Гог его знает, мы — тучки небесные  
над огородами зон...

В другом тексте («кто был никем тот будь ничем...») поражает описание жуткой детской замороженности ртутью в колбочке, которое встраивается в сюжет всё той же зомбированности (рифма «летает/ теател», которая могла бы в других условиях показаться искусственной и вычурной, здесь замечательно воспроизводит и детскую речь, и оборотную, невидимую сторону существования, и мечту о королевстве кривых зеркал). Объединяет все эти сюжеты преподнесение Большой Истории в одежде полудомашнего нарратива, где можно побыть на время частным человеком и дать ему свой голос, своё зрение («Вот тебе, бабка, мои глаза»), можно приподняться над ситуацией в ореоле обобщения (тогда на место метафорики приходит прямое высказывание — с которым важно не переборщить, выше мы сказали о плакате, и поэт чувствует эту меру). А можно — и это, кажется, в полной мере характеризует книгу — стать голосом

последнего, что осталось у поэта: алфавита. Косноязычного, сломавшегося, подпирающего собой язык исторической катастрофы. Того, по отношению к которому поэт-нарратор способен сделаться силой опоры:

остаётся алфавит  
он по улицам бежит  
по-дурачки говорит  
у него язык из пасти  
синей гроздочкой висит

побежали вслед за ним  
на неву смотреть на дым  
станем волосом седым  
станем голосом последним  
недостаточно худым

Но есть, наверное, что-то выше, чем возможность стать речью алфавита, — становление голосом человека (в книге они, к счастью, не противоречат, а органично дополняют друг друга). В интервью десятилетней давности Булатовский интересно рассказывал о сложности обретения языка, который позволил ему «быть с миром на “мы”. <...> Это не блоковское “и с миром утвердилась связь“, когда мир (если ты хочешь о нём говорить) впускает твоё слово в себя именно потому, что оно стало твоим, и ты становишься с миром на “я”. Это что-то следующее, гораздо менее патетичное, гораздо более ответственное, прозаическое и объективное. <...> У тебя появляется собеседник, вернее — возможность появления собеседника. Не “читатель”, которого ты хочешь, в общем-то корыстно, осчастливить, а следующие за ним в отчаянной мандельштамовской триаде “советчик” и “врач”. И сам ты становишься, вернее — надеешься стать, чьим-то собеседником. А может быть, даже, в меру сил и ума, “совопросником века сего”<sup>1</sup>. Люди в «Аврам-траве» естественным образом включаются в этот круг совопросничества, будучи объектами и сочувствия, и — как это и бывает в случае

с поэтом — описания, ещё не знающими (и, возможно, никогда не узнавшими) о своём присутствии в поэтической речи. В частной стихотворной истории — и в Истории большой:

Мудак, стоявший у берёзы,  
не знал, что станет через час  
героем сокровенной прозы  
и мерой каждого из нас.

Стоял, потягивал из банки  
холодный сок земли родной  
и думал: «Надо бы полбанки,  
но это будет в выходной».

Химера мужества кричала,  
ходили дети по дворам,  
смерть не показывала жала,  
трава сплетала речь дровам.

Первую строфу можно понять двояко: тут и случайный человек, вдохновивший на письмо, но и сам поэт как нравственная величина с его внутренним ощущением «меры». Но, пожалуй, больше всего поражает бесстрастность третьей строфы — в сочетании с её особым метафорическим усилением она страшна по-особому: здесь за «сплетала речь» слышится «топила печь», отчего и незнание объекта описания, и его беспечность предстают в жутком отражении. Добавляет эффектности веселящая тавтологическая рифма «банки / полбанки», которая создаёт особенный контраст повседневности с ужасом финальной строфы. И в этой смене ракурсов («наплыв», или «микширование», говоря кинематографическим языком), замене «обыденного» монтажного плана следующим, с его силой авторского всеведения, — высокое мастерство.

В этих стихах мучительно решается вопрос о том, «когда же вы стали плетями оргий», о трансформации человека, который стал носителем зла — или жертвой трагедии. Если в стихотворении «охапки детского невроза» люди сводятся к реалиям детства, наивным детским ранам («о ранка ранняя заноза/ шипенье перекиси роза/ на локте и касанья ват»), чтобы предстать как устроители недетских ран, жертвы и акторы нерелексивного садизма, — то в соседнем

<sup>1</sup> Интервью Игоря Булатовского. Беседа вела Линор Горалик (ныне признана Минюстом РФ иностранным агентом. — *Прим. ред.*) // Воздух, 2014, № 2—3.

тексте («Вон там убили человека...») от человека остаются социальные роли: «сын», «солдат», «нежный пьяница в цветах». В эксплицитно выраженной аллюзии на Фета интонация восклицания меняется на протокольную, отчего трагедия как бы приближается к глазам читателя:

Вон там убили человека.  
Там человек сгорел.  
В полях, лежащих ниже света,  
спит человек.

Он сыном был. Он был солдатом.  
И нежным пьяницей в цветах.  
Они теперь над ним стояли,  
не зная, охнуть или ах-  
нуть.

В стихотворении «капля и пакля глупый словарный божок...», где снова встаёт этот тяжёлый вопрос о трансформации человека, появляется неологизм «мык»: «что остаётся / если привык / если в тяжёлых очках наливаются мык / с третьего класса». Речь о мальчике — «подателе волшебного кляпа», о науке молчать, воспитываемой с детства; «мык» здесь может увидеться как мычание, но и как более расширенная метафора — тупости, покорного подчинения, «овечьести», пользуясь мелким словцом Цветаевой.

Другой ракурс молчания и глухоты заметен в уже упомянутом стихотворении о ребёнке, замороженном зрелищем колбочки с ртутью; здесь эта картина сменяется упоминанием «мандельштама в наушниках», который «слушает время», а «снаружи ничего не слышно». В такой смене эпизодов открывается простор для семантической многоплановости — поэт, слушающий время, не способен ничего изменить, но способен описать его как никто другой; в то же время само зрелище нашего современника, заслонённого от жестокости мира, жутковато и, увы, актуально. Мне эта строфа ассоциативно напомнила жуткую сцену из фильма «Груз-200», где картина изнасилования соседствует со зрелищем заливчатского советского концерта, которому улыбается обыватель. Улыбается явлению, столь же

безобидному, сколь и зомбирующему в своём жутком эскапистском веселье, соблазне позитивчика, — то есть заслоняясь теми же наушниками. Однако строка Булатовского откликается на мандельштамовское «наушники, наушнички мои», на стремление воронежского заключённого прильнуть к токам времени — и поэтому вновь способна восприниматься неоднозначно: тут уже демонстрация «паучьей глухоты» мира, вечная реинкарнация пушкинского «тебе ж нет отзвука».

но ничего не слышно как мандельштам  
в наушниках  
слушает время а снаружи ничего не слышно  
в крови на выпуск входит муж сильный  
где вы плотники где ваши лёгкие топоры

Манделъштам не отпускает автора «Аврам-травы» не только на уровне воспоминаний и образных переключек, но и целых исторических сюжетов. В одном из стихотворений воспроизводится несложившийся разговор Сталина и Пастернака «о жизни и смерти», и в словах вождя неожиданно слышится лирическая потенция, чуть ли не завет поэту — кажется, именно в этом завете наиболее явно прорезается интенция автора, его настояние самому себе. Финал с его нотой усталого примирения отсылает к манделъштамовскому «лететь вослед, лучу/ где нет меня совсем», и разговор о «ненужности света» в этой концовке напоминает о знаменитой гибельной эпиграмме (Манделъштам, «летающий за лучом», отправляется — по некоторым версиям, сознательно, — за бессмертием — в смерть). Булатовский как частный игрок и самостоятельный устроитель исторического пространства вновь и вновь варьирует сюжет манделъштамовской эпиграммы, создаёт альтернативные версии разговора с вождём — тем, историзированным, или современным; диапазон эмоций здесь простирается от ехидства, прикрытого ложным сочувствием («как он без сиськи там один/ в обнимку спит с тяжёлой думой»), до попытки равенства в разговоре:

О жизни и смерти — о чём же ещё  
беседовать нам ввечеру?  
Ты будешь расти бробдингнегским прыщом,  
а я бесконечно умру.

Нам станут носить государственный чай.  
Ты будешь скрипеть сахарком  
на жёлтых зубах: «Выручай, выручай,  
будь крепеньким пастернаком!

О жизни и смерти, давай, говори  
(миндальничать будет черёд),  
да так, чтобы жизнь замирала внутри  
и смерти крутило живот!

А то что-то жизнь застоялась во мне  
и смерть застоялась во мне,  
пора бы и ту разогнать по стране,  
и ту разогнать по стране...»

«...Товарищ, вы пейте, остынет совсем.  
Баранку возьмите. О чём  
теперь говорить? Свет не нужен совсем  
летающему вслед за лучом...»

Поэт как самостоятельный вождь языка  
переживает исторические сюжеты,  
соприсутствуя в них. Не забудем версии  
литературоведов о мандельштамовском  
ощущении собственного равенства со  
Сталиным (усиленного сходством имён) и его  
знаменитое изречение «если за поэзию  
убивают, значит, она — власть». Но «летающему  
вслед за лучом» не нужен «свет» в понимании  
власти, неизбежно коварной и развращающей;  
в этом его слабость и преимущество.

Поэтическая речь в этой книге — речь-  
подросток, речь-пубертат, немеющий от  
выхода за пределы своих возможностей, от  
дерзости выговаривания «старшим». Возможно,  
и от ненайденности, защищённости  
собственного укрытия.

Но, может быть, в таком ощущении речи —  
и есть формула поэзии as it is.

*Кирилл Ямщиков*

## Затем свеча погасла

Изначально эта история — авторства некоего  
А.Дэшли — была опубликована год назад в  
июньском номере «Иностранной литературы».  
«Переведшая» его с английского на русский  
(как слепого через дорогу) Даша Сиротинская  
оставила читателям послесловие, в котором  
отчасти разъяснила туманную фигуру автора.  
Ирландский поэт и прозаик Александр Дэшли  
(1925—1992) не снискал прижизненной славы,  
был ценен лишь узким кругом почитателей

и, что важно для понимания его творчества,  
какое-то время жил в России.

Позже стало известно: никакого Дэшли  
не существует и не существовало,  
а «Теорема тишины» принадлежит перу  
самой Сиротинской. Случилась редкая для  
современной нашей прозы *мистификация*.  
Редкая и потому, что талантливая, исполненная  
живого интереса к перевоплощению, и потому,  
что родственна тому виду карнавала,  
площадной игры, что современной литературе  
как будто бы не к лицу.

С первых же строк в романе Даши  
Сиротинской читается абсолютная стилевая  
податливость, как если бы мы открыли

---

Даша Сиротинская. Теорема тишины:  
Роман / Александр Дэшли. — СПб:  
Издательство Ивана Лимбаха, 2024. — 240 с.

реальный англоязычный роман возрастом в полвека и погрузились в его авантюры.

Именно здесь я допускаю мысль о том, что все эти «ряженки», «дачи» и «клячи» в роман как бы Александра Дэшли помещены сознательно. Крючок, брошенный читателю «на вырост»: догадается или нет? Как выяснилось из авторского «саморазоблачения», читатели вполне догадались. Вполне закономерные внутренние аномалии родили органику, которой трудно доискаться в прямолинейных, стройных нарративах.

Факт двойного остранения работает удачно. Сиротинская не только пишет за другого человека (смириться с фактом его бытия мы должны хотя бы потому, что фигура Дэшли обрисована любовно и старательно), но и не соглашается с «его» письмом, а потому — переводит на собственный лад. Игра сворачивается воронкой, закипает внутрь себя и обрушивает контрапункт.

Роман этот умозрительный, эскапистский и во всех отношениях вневременной. Написать его, вполне вероятно, мог и упомянутый выше Дэшли, и дедушка его, и брат-близнец. Минимум контекста и максимум допущений. История, вырванная из реальности: как если бы «Игру в бисер» Гессе диктовал симпатическими чернилами. Редкие слова говорят о времени-месте: «дача», «трамвай», «дельтаплан», «холодильник», «электричка».

О прочем остаётся лишь догадываться.

«Началось всё с того, что я решил построить себе в лесу дом. Вы, конечно, сразу начнёте плести всякую ахиною насчёт моей старомодности, — но вам легко говорить, вы ведь наверняка ни черта не смыслите в том, что такое лес. Вообще-то говоря, рано или поздно всё в жизни упирается в то, понимаете вы в этом деле хоть что-нибудь или нет».

Лукавый и в самом деле «старомодный» слог Дэшли-Сиротинской навеивает мысли о великой ирландской прозе, формировали и Флэнн О'Брайен, и ранний Беккет, и, допустим, Мартин О'Кайнь. Игра на противоречиях, дикостях, натурализме, вещественном гротеске; очень много грохота, хохота и пряных издевательств.

Грохот я отброшу, но всё прочее оставлю: атмосфера в романе, несмотря на его умозрительность, абстрактность, выстраивается самая что ни на есть карнавальная. Попадание в цель — сохранение живого нерва влияний; Сиротинской оно удалось. От «дома в лесу» прокладывается тропка в неясный, застывший, как время на безумном чаепитии, мир, сложенный из еловых ветвей и трагических масок.

«Усталый рыцарь», Ланцелот, «геральдические лилии», «гербарий теней», боярышник, скребущийся в крышу, как «озябший дракон», — во всём этом наблюдаешь викторианскую анахроничность и страсть прерафаэлитского свойства. Мужские характеры в книге помечены условными именами — Ланцелот, Профессор, — женские, в свою очередь, более ясными, но не несущими в себе смысловой нагрузки: Лидия, Анни.

Средневековая мистерия перемежается дневником натуралиста (*смертью натуралиста!*), алхимическим трактатом и хмурой герметической болтовнёй, что, пожалуй, намеренно герметична и намеренно болтлива. Старик-рассказчик строит дом в лесу, и к нему — то ли ожидаемо, то ли внезапно — заявляются гости за гостем. Так, по цепочке, и возрастает причудливое соседство под метафизической крышей; соседство чудаков, магов и неврастеников.

«Я встал со скамейки и пошёл бродить вокруг дома. Летом в нём распахнуты все окна и двери и по деревянному полу гуляет травяной сквозняк, пахнет крапивой, одуванчиками, осокой, позвякивают колокольчики, подвешенные к потолку, и тяжёлые нити бус в дверных проёмах, и я, будто бы я поэт или художник и у меня есть на это право, просыпаюсь на поздней заре, когда между оконными стёклами уже полно солнца, пыли и заблудившихся бабочек. Тогда я долго лежу на кровати и смотрю, как колышутся на ветру старенькие шторы из кружева чайного цвета, и чувствую, насколько полон мой дом мною одним».

Дом, судя по всему, и вправду полон одним только рассказчиком, а прочие, встречающиеся там-сям на страницах, есть плод его воображения, тянувшегося

к забытому лесу так же стихийно, как тянется к забытым руинам Луциан Тейлор, горерассказчик мэйченского «Холма грёз». Викторианская сказочность ловко уживается у Дэшли-Сиротинской с глубоко ирландским пониманием природы и сугубо русской дотошностью описаний.

Поэтому-то любой ассоциативный ряд у меня начинается и заканчивается британским, ирландским макабром: будь то упомянутый «Холм грёз» или невнятно признанный «Луд-Туманный» Хоуп Миррлиз. Сновидческая, болезненная изнанка здешних «художеств», всецело обращённых к плоти и мякоти слова, как бы проверяет на прочность сам принцип формы, типа, жанра повествования; а уж факт мистификации этому только потворствует.

Начало и финал этой прозы обусловлены исключительно капризом рассказчика, что, разумеется, приём вполне модернистский, знакомый нам и по «Старухе» Хармса («На этом я временно заканчиваю свою рукопись...»), и по «Школе для дураков» Соколова, и по «Ста братьям» Антрима. С последним «Теорему тишины» роднят и бесконечные отступления в контекст семейного, бытового чудачества, таких глумливых посиделок у камина, за которыми выясняется подноготная целой династии.

Кто, в конце концов, все эти люди? Элементали воды, огня и воздуха, вызволенные из книжного небытия? Духи-предки? Сонные фамильяры? Сиротинская засыпает читателя вопросами и принципиально лишает его возможности разыскать ответ, маломальскую интерпретацию. Как лишённая глубины декорация, пейзаж «Теоремы тишины» проступает для нас ровно, приглаженно; за ним ничего нет — ни автора, ни воспоминаний.

Парадокс и симуляция, этот роман играет в спектакль — домашний, школьный, — в ход которого идут и кухонные мётлы, и сброшенные с полок словари, и энные годы учений. Сиротинская орудует накопленными знаниями самоотверженно, искренне, будто столкнулась с ними впервые. Оттого и рождается зыбкая,

едва уловимая и почти не встречающаяся в современной литературе *чудесатость* — детского взгляда на бытие, детской убеждённости в этом взгляде.

Можно, конечно, проследить в здешнем Кенсингтонском саду нарративные хитрости, уловки, извороты, вторые и третьи этажи, надстройки, флигели, но мне хочется говорить о «Теореме тишины» как о триумфе словесного выражения мира, той сокровенной тайне, что доступна литературе и только ей. Ни кино, ни музыка, ни живопись не передают подобных стиливых (*читай, языковых*) регистров. Они радуют иначе, даруют иные чудеса, а литература остаётся собой, поскольку так и не разглашает людям своих иллюзий.

«Возвращаясь назад, я подмечал всё новые и новые признаки скорого преобразования земли. Невидимые дачники рассеянно бродили в глубинах своих выстуженных крохотных комнат, по-осеннему заваленных всяким хламом, где-то на соседней улице мелодично чавкали от соприкосновения с мокрой грязью чьи-то резиновые сапоги, в скособоченных тачках были груды свалены благоухающие гниющие груши, а груши хорошие, отобранные, были уже упакованы в деревянные ящики и аккуратные корзинки и спрятаны в раскрытые багажники увязших в лужах машин вместе с банками, связками порыжевших физалисных фонариков, разноцветными тыквами всевозможных форм».

Болтливый, описательный, декоративно-ботанический, утопший в диалогах и кустарниках, этот роман отвечает редким запросам и редким чаяниям; мы имеем дело с материализовавшейся абстракцией. Обойдя пространственно-временные ограничения, контексты, моды и идеи, она случилась на радость нам, читающим, без объяснений, придинок и толкований; чистокровно.

Какое уж тут дело до авторства, личной корреспонденции? Я верю в то, что «Теорему тишины» сформулировали и Сиротинская, и Дэшли, и Ланцелот, и Лидия, и Профессор, и Анни, — потому что не могли слишком долго оставаться в тени воображения; потому что захотели высказаться.

Валерий Шубинский

## «Я выхожу из солнечной тюрьмы»

Более или менее понятно уже, что 1970—1990-е годы были временем для русской поэзии прекрасным, временем, во многих смыслах, расцвета. Но этот расцвет (до конца 1980-х — главным образом вне официальной печати) был сосредоточен в двух столицах. Поэты, которые в то время работали в провинциальных городах, оказывались в изоляции от этого процесса. Особенно — в «режимных» городах, таких, как Томск, в который практически не пускали иностранцев. Причем в изоляции не только от того, что делали их собратья в Ленинграде и в Москве, но и от значительной части классики, которая тоже распространялась в самиздате, до провинции доходившем редко.

Еще хуже было с обратной связью. Будучи ровесником томского поэта Макса Батурина (1965—1997), я не знал ни его стихов, ни его имени. Причем, к сожалению, этот процесс не сразу наладился и в постсоветскую эпоху. Замечательная антология «Нестолничная Россия», составленная Дмитрием Кузьминым, вышла в 2001 году. Батурина уже четыре года не было в живых. Он принадлежал к тем поэтам, дебютировавшим в 1980-е, чей путь оказался недолог: рано ушедшие Михаил Лаптев, Андрей Туркин, Игорь Буренин, Сергей Дмитровский, рано замолчавший Дмитрий Закс, сперва замолчавший, а потом ушедший Евгений Хорват. Но, в отличие от большинства из перечисленных, он, кажется, толком и не успел прозвучать. Географический

фактор тут важен. Сейчас межрегиональная связь облегчается существованием интернета, социальных сетей. Тогда было иначе. Чуть ли не единственной точкой, связывавшей разрозненные поэтические миры, был тогдашний «продвинутый» масскульт — а именно мир рок-групп (ленинградских и уральских), Батурина очень близкий (как подчеркивает в послесловии петербургский поэт Ольга Аникина, он воспринимал себя скорее как «рок-н-рольщика», чем как поэта, что вытекало из культурного окружения: так было естественнее и понятнее, и так было у многих; ценой этого в ряде случаев — недостаточная серьезность отношения к текстам как таковым и — порою — неготовность доводить их до последней внутренней точности).

И на этом фоне, конечно, совершенно удивительно то, что стихи Батурина не только почти лишены провинциальности, не только находятся на острие того, чем жила тогдашняя поэзия, но и кое в чем опережают её. Даже влияние тогдашней рок-поэзии выражается у него в обаятельном драйве, в неприсущей этой субкультуре романтико-сюрреалистической аляповатости. Некоторые из батуринских стихов как раз очень живо звучат сейчас: нет ощущения, что они написаны десятилетия назад. Возможно, это связано с рецепцией обэриутского наследия — той рецепцией, которая стала актуальнее именно в XXI веке (хотя присутствовала и раньше), и которая отвергает и поверхностное увлечение авангардными приемами и алогизмом как таковым (то, в чем «чинари», Хармс и Введенский, шли от футуризма

---

Макс Батурина. Гений офигений. Поэты антологии «Уйти. Остаться. Жить». — М.: Выргород, 2024.

и что на самом деле осталось в их молодости), и от столь же поверхностного социального гротеска. Суть обэриутской «звезды бессмыслицы» — в ощущении тотальной бесконечности (и в то же время неотделимой от нее тотальной пустоты) смыслов, открывающихся внутри логического провала.

Товарищ детских игр  
о пчеловод известный  
ты мчишься в поездах  
ты мнёшь лицо рукой  
дебильный лейтенант  
закусочный вэвэшник  
сонливых часовых  
охранничек лихой

Тут же рядом хрупкое, нежно-гнилостное остранение Вагинова — и через него, а не через общий «мандельштамовский» путь — поэт выходит к петербургскому кругу образов и обретает свой (микро-)вариант городского мифа:

Из синих закоулков лета и полыни  
в седые сумерки выходят три трамвая  
из душных рек немного Петербурга  
ты тянешь руки шепчешь мне Фонтанка...

...Ты пойдёшь путём прозрачных карт  
ты знаешь  
где искать дороги обводные  
ты летела над водохранилищами скорби  
ты меня любила и сейчас ещё лелеешь

Но главный материал поэзии Батурина — это все-таки мир советской провинции (не тот романтизированный и возвышенный задним числом образ её убожества, который в девяностые годы культивировал Борис Рыжий, а мир предельно вещественно наполненный, остраненный хищным, ненавидящим и влюбленным, взглядом, пропущенный через пропасть абсурда — в данном случае не развеществляющего, а смешающего и преобразующего вещи, делающего их почти «инопланетными»:

Города измочаленных изрубленных  
в капусту  
города избитых диабетических пьяных  
проползающих колоннами мимо трибун  
жрущих украдкой шашлыки из собаки

города сибсельмашей сибэлектромоторов  
искусственных сердец в соусе пикант  
ремонтирующих двери теряющих  
сберкнижки  
передающих адреса где переночевать  
со спиртом

Весь этот советский сюрреализм — это «родина», и это то, что «отцы не достроили». Но это не то, что *мы* собираемся разрушать (чего, казалось бы, можно было ожидать в тексте 1988 года), — нет, это то, что «мы достроим», и тоска этой безнадежности (смешанной с сарказмом) перекрывается лишь мрачным весельем: ибо преобразенный фантазией поэта, даже этот мир оказывается сказочен и небезынтересен.

Батурин сформировался как поэт рано. Но, судя по всему, годам к тридцати он пережил некий творческий кризис. Он как будто заново задается элементарными вопросами — ценою предельного упрощения фактуры:

мучусь игрою во взрослого дядьку  
я пью спирт  
я курю папиросы  
я посадил дерево  
я издал книжку стихов  
я целую тёток  
я родил сына  
я не мёртвый — я знаю  
но кто же родит меня

Ответом могла послужить какая-то новая, совсем другая, поэтика, какая-то новая интонация — лишенная прежнего драйва, но полная новым лиризмом, странно-элегическая, по ту сторону остранения (но не отказавшаяся от него!):

Во мне стучит бревенчатый камыш,  
и кровь осталась только в уголке.  
Я, не прощённый за своё добро,  
теперь уже не зол — зола не греет.

Я знаю, что закончились слова,  
и люди все, кончая, поскончались.  
Я выхожу из солнечной тюрьмы  
и жду, когда меня подхватит ветер.

Но времени у поэта уже не было. Жизнь, увы, оказалась очень короткой.



Евгений Абдуллаев

## Амаркорд

Я вспоминаю.

Он вспоминает. Мы вспоминаем.

Мы вошли во время литературы воспоминаний.

«...Тенденция, на которую надо обратить внимание, — большое количество автобиографий. Глубокий анализ этого феномена — дело критиков будущего, но очевидно, что время побуждает многих современных авторов внимательнее всмотреться в самих себя, в свою жизнь». (Из выступления Дмитрия Данилова, председателя Совета экспертов «Большой Книги», на объявлении короткого списка премии 5 июня 2024 года.)

Автобиографий всегда было немало. Но последние года два — действительно, рекордный урожай.

В длинном списке «Большой книги» — четыре автобиографии: «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» Дениса Драгунского, «Выдумщик» Валерия Попова, «42-й до востребования» Михаила Тарковского, «Моя жизнь: до изгнания» Михаила Шемякина. А если добавить «Испепелённого» Александра Мелихова, так же автобиографичного (хотя главным героем является не сам автор, а его сын), то уже пять. Две автобиографии — Драгунского и Шемякина — вошли в короткий список<sup>1</sup>.

Для сравнения: пять лет назад в длинном списке 2019 года была только одна автобиографическая книга — «Город, написанный по памяти» Елены Чижовой; ни одной — в коротком. Еще пятью годами раньше, в 2014-м, в длинном списке — одна автобиография, «Диссиденты» Александра Подрабиника, и автобиографичная (истории из жизни) книга «Короче» Игоря Свиная. В список финалистов ни одна не прошла.

Так что сегодня, да — тенденция.

Книги очень разные.

Искрящиеся воспоминания Попова, из коротких забавных эпизодов («Выдумщик»). Написанные легко, с самоиронией, уютно<sup>2</sup>.

И рядом — подчеркнуто документальная, местами до косноязычия, «Моя жизнь: до изгнания» Шемякина. Хотя Попов и Шемякин — почти ровесники, мир автобиографии Шемякина совершенно иной. Мрачный, гротескный, нетерпимый

---

<sup>1</sup> «Выдумщик» и «Испепелённый» присутствуют в лонге и другой крупнейшей российской премии — «Ясной поляны».

<sup>2</sup> «Уютный» — вообще частое слово в этой книге. И природа у Попова уютна. «И вот я их увидел в уютном углублении между двух дюн». И люди. «Сколько там было не только талантливых, но приятных, уютных людей». И даже смех: «Уютный вечерний смех».

к любой инаковости. Никакого уюта: давящая жизнь «совка» со всеми оттенками серого. Никакой самоиронии: авторское «я» величественно и неприкосновенно. Начиная с самых первых строк (несколько банальных, но звучащих значительно и весомо<sup>1</sup>), постоянно чувствуешь, что читаешь нечто вроде «Моя жизнь в искусстве».

«И я бросаюсь в разработку новых ходов для фактурной живописи». «...В будущем эти впечатления наложат свой отпечаток и на моё театральное творчество». «Скрупулёзный, тщательный анализ исследуемого объекта или явления, присущий старшему Шемякину, передался и младшему» (то есть автору).

Нет, это не недостаток книги: без некоторого нарциссизма автобиографии вообще невозможны. Хорошо, что она вышла, вызвала резонанс, попала в премиальные списки. Да и тема подавления инакомыслия сегодня снова в тренде.

Или вот другой тип автобиографической оптики, совершенно противоположный взгляд на советские будни. Екатерина Рождественская, «Призраки дома на Горького»<sup>2</sup>. О том, как прекрасна и увлекательна была жизнь советской «золотой молодежи», к которой, по праву рождения, принадлежала мемуаристка. Папа — Роберт Рождественский (для чего-то переименованный в Крещенского); квартира в доме на улице Горького, известные соседи, известные гости... Максимум приятной ностальгии, минимум рефлексии по поводу советского общества и распределения в нем социальных благ<sup>3</sup>. Впрочем, написана книга, особенно в начале, где самые первые детские воспоминания, стилистически свежо и хорошо. И финал — неожиданно трагичен.

«Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» Дениса Драгунского тоже могла бы проходить по разряду воспоминаний представителя советской «золотой молодежи». И здесь отец — известный литератор (пусть и не входивший в союзписовскую номенклатуру), и квартира в элитном доме (не на Горького, но на Каретном ряду, в доме артистов Большого театра и эстрады); и тоже — известные соседи и известные гости.

И всё же — это *другие* воспоминания.

Возможно, дело в небольшой (семь лет), но существенной разности поколений. Сверстники Драгунского успели застать и суровый послевоенный быт (сам автор до семи лет жил в полуподвальной коммуналке), и ещё сохранявшиеся сталинские порядки и привычки. Драгунский, например, вспоминает, как читал вслух пациентам, сидевшим в очереди к зубному врачу, стихи о Сталине: «Поскольку всё это происходило до 1956 года, люди с флюсами и кариесами горячо мне аплодировали».

И всё же дело, думаю, не в этом.

Воспоминания Драгунского вообще несколько выделяются на фоне автобиографий, о которых шла речь. При этом в чем-то даже уступая каждой из них. Не столь стилистически блестящи, как «Выдумщик» Попова. И сам «воспомятатель»

<sup>1</sup> «В мире немало людей, отрицающих свою связь с родителями и их влияние на характер и судьбу. Но если внимательно всмотреться в себя, проанализировать поступки, привязанности, взгляды, то мы, несомненно, обнаружим огромную связь, то, что передаётся по наследству — как плохое, так и хорошее» (Шемякин М. *Моя жизнь: до изгнания*. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2023. С. 13).

<sup>2</sup> *Рождественская Е. Призраки дома на Горького*. — СПб.: Питер, 2023.

<sup>3</sup> «Когда Роберт стал секретарем Союза писателей, ему начали выдавать особый продуктовый заказ. Брала его обычно Катя (Екатерина Рождественская пишет о себе в третьем лице. — *Е.А.*), которая уже научилась водить машину, и лишней раз выехать куда-то недалеко от дома доставляло ей огромное удовольствие. Она и ездила всегда к директору ресторана ЦДЛ, который ждал её в своем подвале, в крохотном кабинете без окон...» Мемуаристка, правда, тут же оговаривается: «Продуктов этих хватало ненадолго, и при постоянном наплыве гостей все эти финские сервелаты, качественные российские сыры из писательского заказа и многие другие дефицитные продукты долго в холодильнике у Крещенских не задерживались». Так что нет, не всё, не всё было так легко и гладко...

не так увенчан лаврами, как автор «Моей жизни...». И тема «отцов и детей» в ней не столь глубоко драматична, как в «Испепелённом» Мелихова.

Тем не менее «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» даже на этом, далеко не блеклом фоне, выделяется «лица необщим выраженьем».

Прежде всего, это несчастный случай воспоминаний *прототипа* литературного героя. На память приходят только воспоминания Татьяны Кузьминской (прототипа Наташи Ростовской) и Кристофера Робина Милна; можно ещё что-то вспомнить, но список, думаю, будет не слишком велик.

Это ещё и более редкий случай, когда прототип не растворился в тени литературного героя. Как это случилось, скажем, с Милном-младшим (ближайший к Драгунскому пример). В устах Драгунского-мемуариста трудно представить что-то вроде: «Были две вещи, которые омрачили мою жизнь и от которых я должен был спастись: слава моего отца и “Кристофер Робин”...» Драгунский для подобных lamentаций сам — независимо от известности «Денискиных рассказов» — достаточно успешен и, главное, рефлексивен. Он не только вспоминает свое детство. Он непрерывно рефлексивен над ним, сравнивая его не только с детством Дениски Кораблёва, но и детскими «биографиями» своих друзей и приятелей. И с неким абстрактным представлением о детстве и каким оно должно быть, принятом в то время<sup>1</sup>.

«Путешествие вглубь себя, диалог со своим литературным двойником», как сказано в аннотации. Добавлю — не только с двойником, но и с родителями и прочей родней, друзьями и первыми любовями, со временем в целом. Диалог увлекательный, самоироничный, дружелюбный.

Лишь в самом конце книги возникает что-то близкое жалобе: «Сначала мне казалось, что я умер — обессмертившись в рассказах отца. Мне было тридцать пять, мне было сорок лет, у меня ничего не получалось всерьез и сильно — и бывало, что злые люди не только за спиной шептались, но и в глаза мне говорили с жестокой насмешкой: “Ну ты же неглупый мужик! Ну ты же сам понимаешь, кто ты такой, что ты из себя представляешь. Ты — Дениска из рассказов, вот и всё!” Тогда мне казалось, что мой папа — своей любовью и своим талантом создав книжного героя, мальчика Дениску, — убил меня».

Однако тут же, «путешествуя вглубь себя», автор приходит к мысли, что «убийство» было обоюдным. «Но вместе с тем мне казалось, что я тоже убил его — но не только этим ужасным, непростительным, роковым скандалом, о нет! Я убил его самим фактом своего взросления. Папа любил меня так сильно, что хотел остановить время. Сохранить меня навеки в виде маленького мальчика».

Это не просто хрестоматийно-уайльдовское «Yet each man kills the thing he loves»<sup>2</sup>. Это — столкновение любви и всеизменяющего и всепожирающего времени. Написав «Подлинную жизнь Дениса Кораблёва», Драгунский словно возвращает долг отцу: не только останавливает реку времени, а пускает её вспять, воскрешая и оживляя его.

В этом смысле ближайшей «рифмой» к книге Драгунского можно назвать уже упомянутый «Город, написанный по памяти» Елены Чижовой (в этом году переизданный<sup>3</sup>, так что можно и его условно включить в нынешний «автобиографический список»). Где смерть с первых же страниц отождествляется с беспомытством, с забвением тех, кого нужно помнить.

<sup>1</sup> «В моей жизни с раннего детства присутствовал некий Другой. Некто, не похожий на меня, но с которым меня всегда сравнивали» (Драгунский Д. Подлинная жизнь Дениса Кораблёва. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2023. С. 50).

<sup>2</sup> «Но каждый человек убивает то, что любит» (англ.)

<sup>3</sup> Чижова Е. Город, написанный по памяти. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2024.

«...Ужас не в том, что я исчезну, — пишет Чижова, — а в том, что растворюсь. Позабуду себя, родителей, бабушку. <...> Смерть — беспомыслие».

И еще одна тема, связывающая эти две непохожие книги, Драгунского и Чижовой<sup>1</sup>. Автобиография как отражение истории страны, как попытка еще раз эту, вторую, обдумать.

В «Городе, написанном по памяти» это делается более прицельно. Чижова непрерывно сопоставляет биографические линии (свою, своей семьи, своего рода) с событиями Большой истории. «...Что же мне делать, если сквозь их личную историю проступают изначальные смыслы, важные для истории страны...»

У Драгунского — это вроде бы остается за кадром. Слово «история» присутствует чуть ли не на каждой странице книги, но только как «случай». Забавный, печальный, всякий. Но историческая ткань, возникающая из этих «историй», не менее связана и «подшита» Большой историей, чем в повествовании Чижовой. И не только потому, что в этих сюжетах то и дело мелькают имена Будённого, Сталина, сына Сталина, Хрущёва, жены Хрущёва (проводящей раз в месяц «политинформацию среди работников домоуправления»)... Просто очень убедительно, почти осязаемо, передан цвет, вкус и запах времени. Советских лет, в чем-то безвозвратно ушедших, в чем-то — неожиданно возвращающихся.

А в других автобиографических текстах, о которых шла речь, — разве нет? Тоже передан. Где-то ярче, где-то бледнее. И в этом — перехожу уже к части выводов — возможно, одно из объяснений нынешнего «автобиографического» всплеска.

Да, происходит очередной «заплыв в историю».

Писать о современности сегодня очень сложно. Очень. И меняется она слишком стремительно. И возрастающее количество ограничений: цензурных, самоцензурных, репутационных... «Итак, о том, что близко/ мы лучше умолчим». В таких случаях история оказывается наиболее устойчивой и нейтральной темой. Так было в 1930-е, когда Алексей Толстой писал «Петра I», Тынянов — «Пушкина», Шкловский — «Минина и Пожарского»...

Тем более — да, история ходит по кругу. И что-то, казалось, уже забытое, затерянное и захороненное — вспоминается, вытаскивается, выкапывается и наскоро оживляется.

Почему историческая тема получила сегодня автобиографическую оркестровку, тоже объяснимо. Волна автофикшна, затопившая литературу последние лет шесть-семь, с её интересом к разнообразным эго-документам, пока не собирается идти на спад. И интерес к автобиографической прозе — её созданию, изданию, чтению — исчезнет, думаю, ещё не скоро.

Так что будем вспоминать и думать.

---

<sup>1</sup> Достаточно сказать, что «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» — о московском детстве, и в ней очень много Москвы и московских реалий, а «Город, написанный по памяти» — о детстве ленинградском, и город, как это видно даже по названию, является не просто местом действия, но почти действующим лицом.

*Борис Минаев*

## Другой Хлопуша

Есенинский «Пугачёв» в театре «Мастерская Петра Фоменко»: я шел на него с сомнением, даже с недоверием.

Я не видел «Пугачёва» на Таганке (да и не мог видеть, сколько мне тогда было лет — 13, 14?), но хорошо помню те кадры, на которых закованный в цепи Владимир Высоцкий мечется по сцене и хрипит: «Пропустите меня, пропустите... Я хочу видеть этого человека».

Буквально полминуты. Крошечная запись. Но какие! И дело тут не только в истории театра, и не только в истории самого Высоцкого.

Эта запись — маленькая часть той большой визуальной мозаики XX века, когда одна картинка прикладывается к другой, образуя единый образ, единое ощущение истории. Как ни странно, этот Хлопуша в исполнении Высоцкого — он где-то рядом с советскими танками в Праге, с Фестивалем молодежи и студентов 1957 года, с московской Олимпиадой, с полетом Гагарина...

Это наш российский XX век, сохранившийся вот так — в образах.

...И вот теперь будет другой Хлопуша, другой Пугачёв, другой спектакль. Всё заново. Но главное даже в другом — того, легендарного «Пугачёва» Юрия Любимова как бы окончательно кладут на полку, а нового — помещают в контекст новой реальности. И вот как будто в самой конструкции окружающего нас мира — тоже что-то неуловимо сдвигается. Потому что это ведь не просто спектакль (благодаря этой тридцатисекундной записи).

...Хлопуша в спектакле у «фоменок», конечно же, тоже есть — но совершенно другой (актёр Тагир Рахимов). Ему и в голову не приходит пытаться повторить пластику Высоцкого, его отчаянный и переворачивающий душу хриплый рык. Он другой — вроде тихий и вкрадчивый, иногда плаксивый, иногда до боли мрачный, и очень «блатной», ускользающий от «нормальных» интонаций.

Хлопуша Высоцкого — народный герой, Хлопуша Рахимова — пришел на сцену из тюремной, криминальной, маргинальной России, его чуть страшно поэтому слушать, хотя иногда он говорит совсем тихо.

Режиссёр спектакля Фёдор Малышев (вместе с автором музыкального оформления Рафкатом Бадретдиновым, хореографом Виталием Довгалюком, художником-постановщиком Евгенией Шутиной) — преобразовал текст Есенина в пластический, ритмический, мелодический алгоритм, который трудно уложить в какой-то понятный жанр. Да, это драматический спектакль, конечно, в нем есть действующие лица, персонажи и развитие, но всё-таки прежде всего — это глухие тёмные звуки ударных инструментов, шаманский и мистический ритм, пронизывающие резкие звуки.

Это какой-то бесконечный танец, танец народного гнева, народного бунта и народного страдания, по-другому и не скажешь.

Но дело не только в форме. В «выразительных средствах». В эстетическом изяществе.

Дело в том, почему это на нас так действует — сегодня, сейчас?

Почему история никому не известного мужика, который вдруг решил вести полки на Москву (и почти дошел), казнил воевод, взбаламутил «электорат», начал опираться на поправленное чувство справедливости и практически стал царем Урала, Сибири и Волги, — сегодня кажется вот такой страшной и такой провидческой?

Потому что это история про смутное время, про переходный период, про жуткие риски слишком централизованного государства, про столицу и провинцию, но точно — не про давно прошедшие, древние времена.

По выражению тонкого театального критика — «яростный мужской мир казачьей вольницы плещется на сцене». Да... И чем выразительнее визуальное начало спектакля, его тонкая пластика — тем выше градус современности в столетней давности есенинских стихах.

Впрочем, стихи, конечно, тут не только есенинские — и Башлачёв, и Егор Летов, и Высоцкий, и Арсений Тарковский. Они вырастают как ветки из общего ствола есенинской поэтической драмы — все эти строфы из разных эпох про неустроенность, несобранность, раздёрганность русской души, русского характера с его противоречиями.

Владимир Сvirский в роли Пугачёва — в каком-то смысле прямой наследник театального Высоцкого: его разящая мужская мощь нужна как некий стержень, опора в этой страшной каше массовых страстей и массовых страхов. Пугачёв Сvirского — это та самая опора. Он знает, куда вести, он верит в свое предназначение, он говорит — и звук его голоса, как басовая струна, пронизывает всю музыку спектакля.

Пугачёв — практически первый «демократ», «публичный политик» и даже «социалист» — упирается лбом в необходимость «сказки», мифа, становится «царем Петром», и вот он преследует его на сцене — Пётр, в шутовском камзоле, тень, преследующая Пугачёва, сошедший с ума двойник народного вождя (Томас Моцкус). Для чего он здесь? Чтобы показать заведомую обреченность народного бунта, бессмысленность русской революции? Показать от самого начала и до самого конца, на всех этапах — восторженную влюбленность в идею справедливости, непреклонную веру в неё, затем необходимость «жестких мер» и «военной дисциплины», и, наконец, распад идеи?

...Вот я сижу в театральном зале — одном из самых удобных, приятных, престижных залов Москвы с красивым видом на реку, на Москва-сити, и, чуть оглядываясь, пытаюсь «слушать зал», пытаюсь понять настроение публики.

Текст Есенина, как известно, очень сложный. Он, конечно, «исторический», в нем много и реальных персонажей пугачёвского бунта, и просто важных реалий того времени, в том числе географических — вся «карта» народной революции, но всё же главное в нем — это образность: густая философская, природная есенинская поэтика.

Видел ли ты,  
 Как коса в лугу скачет,  
 Ртом железным перекусывая ноги трав?  
 Оттого что стоит трава на корячках,  
 Под себя коренья подобрал.  
 И никуда ей, траве, не скрыться  
 От горячих зубов косы,  
 Потому что не может она, как птица,  
 Оторваться от земли в синь.  
 Так и мы! Вросли ногами крови в избы,  
 Что нам первый ряд подкошенной травы?  
 Только лишь до нас не добрались бы,  
 Только нам бы,  
 Только б нашей  
 Не скосили, как ромашке, головы.

И тем не менее, несмотря на всю сложность текста — зал слушает затаив дыхание. Когда Есенин писал этот текст, вокруг продолжалась Гражданская война, вся страна переживала апокалипсис, погромы, эпидемии, расстрелы, более двух миллионов россиян оказались в эмиграции, жуткие события, всколыхнувшие мирную жизнь, *тогда* образовывали понятный контекст для этих стихов.

Казалось бы, всё это очень далеко от нас.

Но ведь и мы кожей чувствуем вокруг себя какую-то тёмную глубину, какое-то тревожное ожидание.

Это трудно уложить в некие рациональные аналитические формулы, но и Есенин свою философию революции не пытался сформулировать как политик или как историк.

Как скелеты тощих журавлей,  
Стоят ошипанные вербы,  
Плава рёбер медь.  
Уж золотые яйца листьев на земле  
Им деревянным брюхом не согреть,  
Не вывести птенцов — зелёных вербенят,  
По горлу их скользнул сентябрь, как нож.  
И кости крыл ломает на шебняк  
Осенний дождь.  
Холодный, скверный дождь.

Революция по Есенину — это мужское дело, среди персонажей «Пугачёва» женщин нет вообще, но режиссёр вводит в ткань спектакля ещё один эпизод, похожий на народный танец: прекрасные девушки, «плакальщицы» в белых одеждах, хор прекрасных голосов, покой, умиротворение. И почти сразу после этого бунт кончается. Распадается на части пугачёвское войско. Исчезает энергия сопротивления.

Это один из парадоксов спектакля, одна из режиссёрских догадок, дающая ключ к пониманию есенинского текста.

Наверное, каждый зритель уносит свою догадку — ну, скажем, для меня такой догадкой стала идея мужского актёрского ансамбля пугачёвских «казаков», который непрерывно перекликается, спорит, двигается, танцует, «заколдовывает» зрителя своими странными движениями (актёры Дмитрий Рудков, Анатолий Анциферов, Павел Яковлев, Денис Аврамов). Это колдовство движения не может быть разъято, разделено на осмысленную драматургию, на рациональные поступки, на ясные и логичные слова, но так ведь и сама механика народной революции — она существует лишь в моменте, она не может быть разобрана на демократические институты или политические программы. Это — гораздо более хаотичное и спрятанное внутрь вещество.

Ну и таких догадок в спектакле много. Важно только на них настроиться. Не ждать привычного.

...Выйдя из театра, я шел к Кутузовскому проспекту, пытаюсь уложить впечатления, вывести в голове какой-то общий знаменатель. Не получалось. Ну как это сформулировать?

...Нарастающая тревога.

Ожидание событий.

Нервная дрожь, происхождение которой неясно.

Но, может быть, это и есть — то чувство, которое стремились вызвать во мне авторы? Спектакль не «закругляет», не запечатывает твои мысли, а делает их открытыми и острыми.

Может быть, поэтому это и есть театр нашего времени.

# Summary

## Dmitrij Isakjanov. The Antique Plot

The young protagonist of the long short story by D. Isakjanov is thrashing up and down, distrusting not only the environment but himself as well, he is growing permanently making the choice between the corporeal and non-corporeal, between being and consciousness. The tired old story. But there is the difference in how to tell and how to read it. Very much may find its way into the gap.

## Poetry

All the fullness of being – from the beauty of Nature till the tragedy of the fate, both personal and common – Hanna Shevchenko is trying to fit into “the unity of the word and the Nature inscribed in the verse”.

The note of warning about “the helplessness of the words” and “the doubts in the bottom of God’s eye” sounds in the poems of Evgeniya Konovalova.

In the collection of poems by Mariya Ignatyeva there are nostalgia for the youth and bitter meditations on the death. The same eternal theme of life and death sounds in the lyrics of Vera Kalmikova. Alexander Orlov is perceiving the life through the connection of generations and the love for his ancestors.

## Evfrosiniya Kapustina. The People Who Are Not on the Map

«Sometimes I read in the letters I’m receiving: “I’ve made the donation for *them* to buy the ultrasound scanner, medications, test-strips for glucose...” And then I understand: me talking, taking pictures and telling is not for nothing», – so in one of her interviews depicts the meaning of her volunteering activity Evfrosiniya Kapustina – the author of the notes on her work in Guatemala that we present in this issue.

## Olga Balla on Irina Ermakova’s “The Brass Mirror”

“The Brass Mirror” by Irina Ermakova is a huge volume containing poems written in 1987–2020 years. “The book that has absorbed texts relating to very different historical and biographical periods, – notes Olga Balla, – turns out to be amazingly well-rounded in the manner of speech, the type of the view, the position with regard to the world, to the speech, to oneself”. The critic’s task is to comprehend how this integrity is built, what are its main features and whether it had been changing during those fabulous “thirty and three years”.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»  
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**  
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте  
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»  
Москва, ул. Тверская, 17  
(вход с Малого Гнездиновского переулка)

*Вёрстка: Елена ЖИРНОВА*

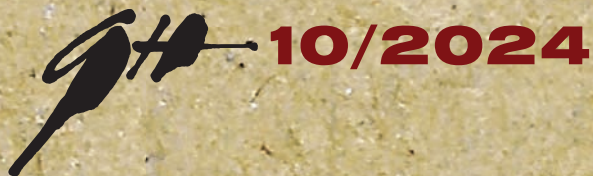
*Корректурa: Елена ЛАПШИНА*

*Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ*

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»







## По страницам «ДН»

*Чувствую это время, как открывшийся для души вход в какое-то другое измерение, и даже нелепо кажется молиться, потому что стоят и молятся перед закрытыми дверьми, а тут всё открыто и всё замерло: только молча войти и понимать себя как чужого. Да, только чувствуя себя чужим, видишь себя, а тут — видишь-то себя Его глазами. Временами мне кажется до жути, что всё вокруг живое — даже снег.*

*Игра с людьми Господа началась со скрижалей — даны были её правила. И это она такая — или вечная жизнь, или вечные муки.*

*Вся социальная жизнь — жизнь насекомого. То есть она и делает из людей насекомых — и это ужасно. <...> Воскрешение из мертвых — мечта о духовной свободе? А зачем Страшный суд? Да кто всё это придумал... Два взгляда человеческих в пустоту... <...> И кто и зачем придумал ад и рай? Или всё же создал? Создал для людей, потому что и создал людей. А люди только и копошатся, как насекомые.*

*Как войну унюхают в воздухе, — все поэты. Вещают одами... Речи несут, воодушевляющие и возвышенные. Пьянство. А кто бы что трезвое и мыслящее сказал? Какой уж там воздух свободы пьянит... Вот что покрепче.*

**Олег Павлов.**  
**«Мне тяжело в этом времени...»**  
**Из Дневника 1998-2008 годов**

**2019, №7**

